

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ИНТЕРВЬЮ: КОММЕНТАРИИ

**Д.А. Баранов, Д.М. Колядов, П.С. Куприянов, А.Д. Соколова,
Т.А. Листова, И.А. Разумова, А.К. Касаткина**

Дмитрий Александрович Баранов | <https://orcid.org/0000-0003-4129-7771> | dmitry.baranov@list.ru | к. и. н., заведующий отделом этнографии русского народа | Российский этнографический музей (ул. Инженерная 4/1, Санкт-Петербург, 191186, Россия)

Дмитрий Михайлович Колядов | <http://orcid.org/0000-0002-2860-5517> | dkoliadov@gmail.com | младший научный сотрудник | Институт лингвистических исследований РАН (Тучков пер. 9, Санкт-Петербург, 199004, Россия)

Павел Сергеевич Куприянов | <http://orcid.org/0000-0001-9856-3159> | kuprianov-ps@yandex.ru | к. и. н., старший научный сотрудник | Институт этнологии и антропологии РАН (Ленинский пр. 32а, Москва, 119991, Россия)

Анна Дмитриевна Соколова | <http://orcid.org/0000-0001-9120-8218> | annadsokolova@gmail.com | к. и. н., научный сотрудник | Институт этнологии и антропологии РАН (Ленинский пр. 32а, Москва, 119991, Россия)

Татьяна Александровна Листова | <http://orcid.org/0000-0002-2189-933X> | listova.ta@mail.ru | к. и. н., старший научный сотрудник | Институт этнологии и антропологии РАН (Ленинский пр. 32а, Москва, 119991, Россия)

Ирина Алексеевна Разумова | <http://orcid.org/0000-0002-5960-9772> | irinarazumova@yandex.ru | д. и. н., главный научный сотрудник | Центр гуманитарных проблем Баренц региона – филиал ФИЦ “Кольский научный центр РАН” (мкр. Академгородок 40а, Апатиты, 184209, Россия)

Александра Константиновна Касаткина | <https://orcid.org/0000-0002-8827-9696> | alexkasatkina@gmail.com | к. и. н., научный сотрудник Центра исторических исследований | Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”, Санкт-Петербургский филиал (ул. Союза Печатников 16, Санкт-Петербург, 190121, Россия)

Статья поступила 29.03.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 30.04.2022

Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (*Chicago Manual of Style, Author-Date*):

Баранов Д.А., Колядов Д.М., Куприянов П.С., Соколова А.Д., Листова Т.А., Разумова И.М., Касаткина А.К. Размышления об этнографическом интервью: комментарии // Этнографическое обозрение. 2022. № 3. С. 88–123. <https://doi.org/10.31857/S086954152203006X> EDN: HVDIIP

Baranov, D.A., D.M. Kolyadov, P.S. Kupriyanov, A.D. Sokolova, T.A. Listova, I.A. Razumova, and A.K. Kasatkina. 2022. Razmyshleniia ob etnograficheskom interv'iu: kommentarii [Thoughts about Ethnographic Interview: Comments]. *Etnograficheskoe obozrenie* 3: 88–123. <https://doi.org/10.31857/S086954152203006X> EDN: HVDIIP

Ключевые слова

интервью, включенное наблюдение, полевые методы, полевая беседа, речевая ситуация, диалогическая теория

Аннотация

В настоящей публикации представлено обсуждение статьи А.К. Касаткиной “Этнографично ли этнографическое интервью?”, в которой автор, опираясь на материал своих интервью с владельцами садовых участков в Ленинградской области, предлагает возможное решение проблемы недостаточной этнографичности интервью. А.К. Касаткина отмечает, что полевой разговор, являясь органичной частью включенного наблюдения, требует особых исследовательских инструментов и что использование методов анализа устной речи поможет получить ответы на этнографические вопросы. Критические замечания по поводу аргументации автора и свой взгляд на тему излагают Д.А. Баранов, Д.М. Колядов, П.С. Куприянов, А.Д. Соколова, Т.А. Листова и И.А. Разумова, вступающие в полемику с автором.

Информация о финансовой поддержке

Российский научный фонд, <https://doi.org/10.13039/501100006769> [проект № 19-78-10076] (исполнители П.С. Куприянов, А.Д. Соколова)

Государственное задание ЦГП ФИЦ КНЦ РАН (проект № FMEZ-2022-0028) (исполнитель И.А. Разумова)

ДРУЖЕСКОЕ ЧАЕПИТИЕ ИЛИ “ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ”?

Д.А. Баранов

Заглавие комментария к статье А. Касаткиной построено на метафорах, иногда используемых этнографами при описании характера взаимоотношений с информантами. Таким образом очерчивается рамка, включающая весь диапазон коммуникативных нюансов полевой работы, – этим нюансам, в общем-то, и посвящена обсуждаемая статья. А. Касаткина поднимает целый ряд вопросов, хотя, как мне представляется, зачастую они несопоставимы по своему весу.

Начну с утверждения автора о том, что у термина “интервью” “есть ряд собственных коннотаций, благодаря которым в некоторых ситуациях он может вызывать отторжение у этнографов и антропологов”. Я не стал бы столь уж категорично говорить об отторжении этнографами этого термина/концепта. Автор ссылается, например, на собственный опыт защиты диссертации, в ходе которой возникла дискуссия об “этнографичности” интервью и, соответственно, “этнографичности” самого исследования. На самом деле, в данном случае главной причиной определенного неприятия работы некоторой частью диссертационного совета стал не метод, а объект исследования – дачные разговоры. В кулуарах мне не раз приходилось слышать, как отдельные члены совета, мягко говоря, выражали недоумение по поводу темы работы, которая оценивалась как “неэтнографическая”. Так что эта проблема скорее отсылает к академическому консерватизму или поколенческо-возрастной природе самого диссертационного совета, а это уже другой разговор.

Тем не менее вопросы, которые А. Касаткина поднимает в своей статье, представляются действительно актуальными, да и попросту интересными. Если говорить о жанровых характеристиках интервью в самом общем виде, то прежде всего нужно упомянуть его структуру, в основе которой лежит добрый старый этнографический вопросник. При всех своих достоинствах (среди которых

назову фокусирование внимания на заранее определенных темах и контроль над ходом беседы, позволяющие с наименьшими затратами получить желаемые ответы, а также структурированность содержательной части, придающей интервью – и в этом можно согласиться с автором – институциональную строгость) вопросник все больше обнаруживает свою ограниченность на фоне возрастающей рефлексии относительно не только того, *какое* знание этнограф добывает, но и того, *как* он это делает. И причина здесь не только, как замечает А. Касаткина, в “игнорировании роли контекста, локального и общекультурного”, или в том, что “формат интервью обычно вынуждает собеседника занять позицию, внешнюю по отношению к его культуре, а значит, плохо согласуется с включенным наблюдением” (здесь, кстати, при желании можно увидеть противоречие с утверждением об интервью – если считать его видом полевой беседы – как органичной части метода включенного наблюдения), но и в самой асимметричной вопросно-ответной природе интервью. Ведь отношения спрашивающего и отвечающего – это прежде всего отношения с асимметричными этическими обязательствами. Отличительная особенность этой модели состоит в том, что “другой” никогда не бывает полноправным участником диалога. В самом деле, вопрошание есть нарушение некоей целостности, вмешательство извне. Инициатива всегда исходит от интервьюера, именно ему “что-то надо” от информанта, к которому он “пристает” со своими вопросами, не всегда считаясь с его интересами. В своей крайности подобное речевое взаимодействие может быть охарактеризовано словами Ж.-Ф. Лиотара, который замечает, что “требование ко мне со стороны другого в силу самого факта его обращения ко мне, является требованием, которое никогда нельзя оправдать” (цит. по: *Ридингс* 2010: 256). Все это побудило этнографов и фольклористов сравнивать антропологов с инквизиторами, а интервью с допросами, или – в более общем плане – говорить об “этнографическом насилии”.

Не менее существенным недостатком вопросника и, соответственно, интервью является ограниченность его когнитивных ресурсов. Ведь далеко не очевидно утверждение, что чем детальнее разработан вопросник, тем ценнее в количественном и качественном отношении будут полученные сведения. Такая исследовательская установка указывает на позитивистские основания, на допущение возможности более или менее объективного описания наблюдаемого мира. Внимание этнографических вопросников конца XIX – начала XX в. к деталям и мелочам безотносительно к их значимости оказалось созвучным “медленному” описанию Б. Латура, конструирующему “плоский” ландшафт (*Латур* 2014: 266). Речь идет о последовательности наблюдаемых элементов и равном внимании к ним, независимо от того, представляются они важными или несущественными. Но подобное требование “тотальной” инвентаризации выглядит невыполнимым, если не сказать наивным, поскольку уже само наблюдение всегда избирательно: этнограф наблюдает только те частные случаи и детали, которые укладываются в изначально существующие представления об изучаемой культуре или культуре вообще и которые соответствуют определенным классификациям. Словом, любой вопросник рассчитан на конкретную схему интерпретации материала. Именно поэтому характер получаемых сведений во многом детерминирован постановкой и содержанием вопросов. И именно поэтому всегда есть риск пропустить нечто весьма существенное, определяемое целостностью и контекстуальностью культуры. О важности учета этого аспекта свидетельствует описанный Л.Н. Виноградовой случай с известным исследователем Полесья К. Мошинским, который, опираясь на результаты своих полевых

работ довоенного периода, сделал вывод о слабой представленности в регионе поверий о ведьме, хотя материалы Полесского архива, собранные в последние десятилетия, свидетельствуют о том, что ведьма является одним из самых популярных персонажей быличек. Причина существования двух “реальностей наблюдения” заключается в том, что К. Мошинский в своей работе использовал комплекс вопросов о нечистой силе (в том числе о ведьме), а для Полесья характерна календарная закреплённость поверий о ведьме, т.е. артикуляция ее образа была возможна в данном случае только в значительно более широком культурном контексте (Баранов, Гуляева 2009).

Искусственность порожаемых нарративов, разрушение контекстуальной целостности, классификационные (формально-логические) основания – эти ограничения вопросника могут быть отчасти нивелированы только сменой “жанра” работы с информантами: переходом от вопросно-ответной модели к речевому общению обоюдно заинтересованных собеседников. А. Касаткина использует термин “гибридность” для обозначения постоянного переклещивания между коммуникативными жанрами, хотя, замечу в скобках, гибридность можно увидеть только в рамках исследовательских классификаций. Любопытно, что автор имплицитно указывает на некую фальшивость включенного наблюдения, которое предполагает стремление антрополога “стать естественной частью ландшафта”, и в этом смысле интервьюирование выглядит “более честным”, поскольку не маскирует “чуждость” антрополога.

В целом А. Касаткина исходит из презумпции неэтнографичности отстраненности, характерной для интервью. Как мне кажется, было бы упрощением дистанцию между информантом и исследователем, внешнюю позицию и “чуждость” антрополога однозначно трактовать как препятствие на пути к установлению контакта и к этнографической беседе. Мой опыт полевой работы как на Южном Кавказе, так и на Русском Севере показывает, что зачастую, наоборот, именно статус “чужака” позволял спровоцировать ответный интерес информанта – неперемное условие диалога относительно равноправных участников. То, что я выделялся на местном фоне (своей внешностью, манерой поведения, способом перемещения – напр. автостопом, речевыми особенностями и т.д.), вызывало любопытство у местного населения и способствовало спонтанным разговорам. Причем инициатором общения был не я, антрополог, а сами местные жители. Статус чужака в этой ситуации выступает в роли инструмента, с помощью которого завязывается беседа. Как с чужаком, выключенным из локальной социально-культурной сети, со мной могли обсуждаться вопросы и темы, табуированные в разговорах с соседями. Я.В. Чеснов приводит пример, как во время полевой работы на Кавказе он моделировал ситуацию, в которой он “превращался” в бесполого младенца, благодаря чему имел право задавать самые интимные вопросы и – главное – получать на них ответы.

Позиционирование в поле своей инаковости имеет и другие преимущества: в этом случае антрополог провоцирует информанта задавать исследователю простые житейские вопросы (кто такой, откуда, чем занимаешься, какая у тебя семья и т.д.). Завязывается “симметричная” беседа, комфортная для всех участников; рассказы собирателя о своей жизни порождают ответные биографические истории. Я.В. Чеснов такую ситуацию называет фатической коммуникацией: люди только устанавливают контакт, не сообщая пока какой-то “искомой” информации, а интересуясь, например, здоровьем друг друга и т.п. В идеальном случае, продолжает Я.В. Чеснов, интервью можно, скорее всего, считать формой самоорганизации информанта: в благоприятных условиях, созданных вни-

манием антрополога, информант пребывает, как правило, в ностальгическом настроении, вспоминая о своей культуре, своем социуме, своей жизни. Поэтому интервью должно быть просто чаепитием или чем угодно, но не подчинением информанта вопроснику антрополога (Чеснов 2013).

Биографические нарративы позволяют выявить контекстуальные связи, отражающие те или иные “народные классификации”, иерархию ценностей, показывающую, какие вопросы и темы действительно волнуют человека. Информант создает собственный, относительно независимый от исследователя текст, имеющий свою особую тематическую структуру, насыщенный интертекстовыми связями и разнообразными реминисценциями. Находясь в поле, я иногда только через биографию и долгие беседы “за жизнь” мог выйти на интересующие меня темы. Так, в Поморье долго не удавалось получить сведения об обрядах, исполняемых в случае гибели людей на морском промысле. На прямые вопросы следовали неопределенные ответы, и только биографические повествования, которые стали возможными после довольно продолжительных бесед, позволили, наконец, записать удивительные истории взаимоотношений людей и моря.

Как правило, биографические повествования вызывают соучастие/сочувствие, инициируют обмен “жизненными историями”, или, в терминах А. Касаткиной, жанровые переключения, т.е. все то, что отличает этнографическую беседу от социологического интервью. Не сказал бы, что статус этнографической беседы снижается из-за отсутствия отчетливых формальных особенностей и, как следствие, выраженной институциональности. В конце концов, речевое взаимодействие является этнографическим только тогда, когда в нем принимает участие этнограф.

Автор предлагает довольно оригинальное решение проблемы неэтнографичности интервью: превратить его из метода исследования в объект. Тогда, говорит А. Касаткина, “включение речевого взаимодействия в этнографическое наблюдение помогает превратить знание, произведенное в диалоге, в ответы на этнографические вопросы”. С этим можно согласиться, правда, здесь есть один нюанс: в этом случае фокус внимания смещается с того, о чем рассказывают, на то, как об этом рассказывают, т.е. на сам процесс беседы. Другими словами, объектом наблюдения становится реакция на это наблюдение. Собственно говоря, речь здесь идет о своего рода метанаблюдении, где личность собирателя становится важнейшим фактором, во многом задающим характер описания культуры, более того, весь индивидуальный опыт исследователя приобретает методологический статус.

Если вернуться к заголовку комментария, то, вероятно, следует признать, что использование союза “или” как разъединяющего альтернативные подходы здесь не вполне корректно. В чистом виде коммуникативных жанров не бывает, в процессе общения происходят постоянные “выпадения” из того или иного жанра. В одном случае более продуктивной может быть внешняя позиция антрополога и его дистанцированность, подчеркиваемая вопросно-ответной структурой речевого взаимодействия, в другом – именно “чаепитие”, взаимное соучастие/сочувствование собеседников, предполагающее и внутренний разговор с самим собой каждого из них, является единственным способом приблизиться к пониманию Другого. Но и процесс интервьюирования, и неформальная беседа предполагают наличие нарративной прагматики с обоюдными этическими обязательствами, значимость которых в оценке получаемого знания все больше осознается современными антропологами.

ПРОБЛЕМА РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ И ЗНАЧЕНИЙ В ПОЛЕВОМ РАЗГОВОРЕ

Д.М. Колядов

В моем понимании, основная мысль статьи А. Касаткиной заключается в следующем: этнограф может рассматривать интервью не только как источник информации, но и как дискурс, т.е. в качестве последовательности речевых действий, совершаемых в конкретном социальном, культурном, историческом контексте. Такое рассмотрение позволяет применять к интервью соответствующие методы анализа. Анализ может дать доступ к специфическим коллективным представлениям (культурным установкам) той или иной группы. При этом подобные представления и установки обнаруживаются не только на уровне высказываний информанта, но и на уровне взаимодействия информанта и исследователя. Именно этот уровень оказывается в центре внимания автора статьи.

Мне трудно судить, находится ли метод интервью в конфликте с “основным методологическим принципом этнографии” и насколько актуальным является этот конфликт. Как мне кажется, использование интервью в качестве источника этнографической информации все же остается правомерным. А к репликам информантов можно подходить как к дискурсу и анализировать только их, не касаясь того, что происходит во взаимодействии между информантом и исследователем. На мой взгляд, рассмотрение такого взаимодействия – отдельная тема, которая может не быть релевантной для конкретного исследования. Но эта постановка вопроса выглядит чрезвычайно интересной и плодотворной.

Что касается анализа материала: в каких-то случаях он кажется удачным и убедительным (напр., анализ первого фрагмента, где собеседники обсуждают, что делать с членами садоводства, которые не платят налоги на приватизированные участки). Но есть и другие случаи, которые вызывают определенные вопросы и сомнения. Их я постараюсь кратко изложить ниже:

1. Хотя автор обещает “методологически обоснованный анализ”, методология не сформулирована в явном виде, есть только ссылка на концепцию диалогического романа М.М. Бахтина. Эта концепция, несомненно, важна для гуманитарных наук, в том числе и тех, которые изучают культуру и язык. Однако, на мой взгляд, она дает скорее общую перспективу, способ думать о проблеме, чем инструменты для анализа. Показательно, что автор пишет о необходимости “анализировать речевые действия говорящих, выявлять работающие в этих действиях установки и конкретные локальные и общекультурные обстоятельства, определяющие формулировку и модификацию этих установок”, но не демонстрирует, как именно делать это в терминах М.М. Бахтина. Вместе с тем существует множество работ (в том числе и в области лингвистической антропологии), к которым, как кажется, можно было бы обратиться в поисках методологии для анализа интервью. Среди них есть немало исследований, посвященных темам, которые интересуют автора: конструированию идентичностей, позиций, ролей в диалоге (*Bucholtz, Hall 2005; Goffman 1981*), культурно специфическим речевым жанрам (*Руч 2005*), развертыванию действия и производству знания в диалоге (*Goodwin 2018*), совместному конструированию действий (*Duranti 2003*), переключениям между жанрами или фреймами (*Tannen, Wallat 1987*) и т.д.

2. Одним из основных аналитических инструментов является понятие жанра. Однако это понятие не определяется. В статье приводятся некоторые признаки жанра интервью в целом, но не обсуждается специфика этнографического интервью (отличающая его от новостных интервью, интервью на собеседова-

нии, социологических опросов и т.д.). Ничего не говорится и о формальных особенностях прочих жанров. В связи с этим возникают вопросы относительно использования этого понятия. Действительно ли “обмен опытом между садоводческими управленцами” в приведенном автором примере является жанром? Каковы его формальные признаки? В каких отношениях этот “обмен” находится с “естественной повседневной коммуникацией двух садоводов”, “обменом садово-огородным опытом, обсуждением соседей и т.д.”? Это разные названия одного и того же жанра? Или все это разновидности “естественной повседневной коммуникации двух садоводов”? Что это за жанр (охарактеризованный в тексте как “площадка”), на который, по мысли автора, переключаются собеседники, обсуждающие “зеленую зону”?

Еще один вопрос, требующий прояснения: как жанры связаны с позициями? Автор пишет, что «интервью как жанр предлагает достаточно бедный репертуар позиций: интервьюер и собеседник, дилетант и эксперт и некоторые другие. Благодаря жанровым переключениям, можно видеть более широкий, а главное, более культурно специфичный репертуар позиций, доступных собеседникам (“садоводческий управленец”, “представитель молодого поколения” и т.д.)». То, что автор описывает в статье как переключения между жанрами, разумеется, может влиять на смену позиций участников взаимодействия. Но такие переключения не являются единственной возможностью для смены позиций. Анализируя дискурс, можно реконструировать стоящие за ним модели ситуаций. Это могут быть и модели ситуаций, о которых ведет речь говорящий (скажем, “покупка садового участка”, “конфликты с соседями”), и самой ситуации взаимодействия (“исследовательское интервью”, “пресс-конференция”, “разговор со знакомым”). Одной из составляющих модели являются участники, выступающие в тех или иных ролях (*van Дейк 2000; van Dijk 1997*). Нетрудно показать, что, рассказывая о различных событиях и оставаясь при этом в рамках жанра интервью, информант может занимать и иные позиции – не только позиции “информанта” и “эксперта”.

Другой момент, нуждающийся в прояснении, – это набор позиций, приписываемых жанру. На мой взгляд, анализ диалога о “зеленой зоне” противоречит утверждению о “бедном репертуаре” позиций, характерном для интервью, и его расширению при переключении на другие жанры. Так, позицию собеседника до переключения (пока он находится в жанре интервью) автор определяет как “обычный садовод-информант”, т.е. как культурно-специфичную. После переключения же собеседник, по словам автора, “уверенно занимает позицию эксперта”, т.е. позицию, которая входит в “бедный репертуар” интервью. Кроме того, утверждение о том, что информант *занимает* экспертную позицию, вызывает определенные сомнения. На мой взгляд, в случае этнографического интервью позиция эксперта, скорее, зарезервирована за информантом по умолчанию.

3. Анализ и интерпретации в некоторых случаях вызывают сомнения и возражения. Я остановлюсь подробнее на фрагменте, который начинается с вопроса о зеленой зоне. По мысли автора, этот вопрос подталкивает информанта к тому, чтобы усомниться в компетентности исследователя в теме истории советского садоводства; это сомнение информант выражает, задавая вопрос об участках, которые выдавали в 1985 г. Исследователь ссылается на личный опыт, информант не принимает эту ссылку из-за возраста исследователя и начинает рассказ об истории раздачи садов, таким образом, занимая экспертную позицию.

Автор исходит из того, что существуют формальные правила жанра интервью (“исследователь обладает приоритетным правом задавать вопросы и направлять

ход беседы, его собеседники обладают приоритетным правом на долгое монологическое повествование”) и что информанты уже знакомы с этим жанром. По-видимому, исходя из этого подразумевается, что понимание ситуации должно разделяться обоими собеседниками. Соответственно, если исследователь интерпретирует определенное высказывание как переключение на другой жанр, попытку поставить под сомнение компетентность партнера, занять экспертную позицию, то и собеседник по умолчанию разделяет эту интерпретацию. Однако такое обоснование не кажется мне бесспорным. Можно допустить, что у автора были причины, чтобы “услышать” в разговоре или “прочесть” в транскрипте реплики собеседника определенным образом. Но в этом случае, как кажется, речь все же идет о представлениях и культурных установках автора. Если же автор хотел показать, что оба участника разделяют понимание ситуации и действий, предложенное в ходе анализа, нужны специальные обоснования. Такие обоснования могут опираться на этнографию, ссылки на известные из других исследований закономерности коммуникативного взаимодействия и на анализ реплик рассматриваемого диалога. Автор идет по последнему пути. Однако представленный анализ, с моей точки зрения, не дает достаточных оснований говорить о релевантности предложенных интерпретаций для информанта. Во-первых, есть сомнение в том, что в данном эпизоде происходит отступление от жанра интервью. Сам по себе вопрос со стороны информанта (даже если это первый вопрос за два часа) не может быть квалифицирован как такое отступление. По моему опыту, в этнографических интервью подобные вопросы являются вполне обычным делом. Если говорить об отклонении, я бы описал этот эпизод как отклонение скорее от темы, чем от жанра: А.В. отвечает на вопрос исследователя, но вместо рассказа о том, что такое зеленая зона, переходит к рассказу о выделении участков в 1985 г. На мой взгляд, развертывание данного эпизода как раз говорит о соответствии требованиям жанра, которые приводит автор: информант пользуется своим правом на “длинное монологическое повествование”, а исследователь позволяет ему это делать, не прерывая его, не пытаясь вернуть к вопросу о том, что же все-таки такое “зеленая зона”.

Во-вторых, независимо от того, имело ли место отступление от жанра, мне трудно увидеть в репликах А.В. ожидание компетентного ответа или ссылок на научный источник. Прагматика вопросительных реплик (как и почти любого высказывания) может быть очень разнообразной (*Утехин 2013; Heritage 2012*) и определяется в конкретном случае с опорой как на формальные особенности реплики, так и на контекст, в том числе на предшествующие и последующие действия участников. Вопрос А.В. “Представляете?” может быть проверкой состояния знаний собеседника и задаваться для того, чтобы понять, что рассказывать дальше (не говорить о том, о чем собеседник и так знает), как это и отмечается в статье. А.В. высказывает оценочные суждения, но оценивает не компетентность исследователя, а работу определенных социальных институтов (НИИ, партии и правительства) и ее результаты: “хорошо сделал”, “плохо”, “мало земли”, “убого”, “места плохие”. И с этой точки зрения в вопросе “Представляете?” можно увидеть приглашение присоединиться к оценке, что исследователь, кстати, и делает, ссылаясь на собственный опыт и пытаясь поддержать информанта и разделить его эмоции (на эмоциональную составляющую указывает смех исследователя).

То, что А.В. не принимает эту ссылку, само по себе опять-таки не говорит, что за возражением стоит дисквалификация авторитета собеседника. “Это еще не то!” может означать указание не на нехватку опыта у партнера, а на то, что

участки 1982 года несопоставимы с участками, выдававшимися в 1985 году, т.е. что первые не так плохи, как вторые. Можно предложить и альтернативную интерпретацию восклицания А.В. – не в терминах поколенческой и профессиональной идентичностей, а в терминах теории вежливости и гендерно специфичных речевых стратегий. В то время как исследовательница пытается присоединиться к оценке А.В. и выразить общность опыта, продемонстрировать близость к собеседнику, А.В. прямо отвергает эту попытку. Стратегии, предполагающие согласие, сближение, неконфликтность взаимодействия, как утверждается, характерны для женщин, тогда как открытое выражение несогласия и конфликт – для мужчин (*Brown, Levinson 1987: 245–246*).

Эту интерпретацию я привожу не для того, чтобы сказать, что “гендерное” прочтение в данном случае более предпочтительно, а для того, чтобы показать, что возможны разные прочтения, не обязательно взаимоисключающие. И это обстоятельство указывает на общую проблему анализа дискурса: как от наблюдаемых явлений перейти к приписыванию локальных значений (“произносимое высказывание X, говорящий совершает действие Y”) и к коллективным представлениям и культурным установкам конкретных групп? На мой взгляд, при ответе на эти вопросы задача исследователя состоит в том, чтобы показать, что конкретное прочтение релевантно для участников взаимодействия¹. Такая задача существенно ограничивает свободу исследовательской интерпретации, но, как мне кажется, позволяет сделать более обоснованным переход от локальных высказываний к неявным значениям и коллективным представлениям.

Примечания

¹ Нужно сказать, что эта задача актуальна не для всех подходов к анализу дискурса. Например, для разговорного анализа ориентация на понимание происходящего, которое демонстрируют сами участники диалога, является принципиальным методологическим требованием. Однако существуют и другие подходы, которые допускают большую свободу действий исследователя (*Peräkylä 2004: 285*).

ВКЛЮЧАЯСЬ В РАЗГОВОР? СТРАТЕГИИ ИНТЕРВЬЮЕРА В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПАМЯТИ

П.С. Куприянов, А.Д. Соколова

В своей статье А. Касаткина предлагает рассматривать этнографическое интервью как речевой жанр, разновидность беседы. Подходя к нему таким образом, она не только обращается к проблеме институционализации и формализации полевого интервью, но и ставит важные вопросы о роли исследователя в производстве знания в ходе такого рода коммуникации: до какой степени искусственная по своей природе ситуация интервью может имитировать естественное общение? и может (и должен) ли антрополог стремиться к тому, чтобы минимизировать свое участие в беседе? Эти вопросы, как нам представляется, важны и актуальны для любого социального исследователя, обращающегося к методу интервью, однако ответы на них, по-видимому, будут зависеть от дисциплинарной принадлежности и методических предпочтений ученого, от профиля и тематики работы. Мы предлагаем посмотреть на проблему интервью с точки зрения антропологического изучения памяти.

Исследования исторической памяти ставят вопрос о том, как воспринимается, описывается и используется прошлое в различных современных контекстах и ситуациях, как оно “работает” в социальных группах и в сознании отдельного человека. В таком случае интервью нацелено прежде всего на запись устных воспоминаний людей: *их речи, их нарративов, их способов мыслить и говорить* о прошлом. А интервьюер, заинтересованный в получении мемориального нарратива, стремится и максимально самоустраниться, освободив “пространство” для собеседника, и создать своему визави по возможности комфортные условия для свободного самостоятельного высказывания и нарративизации воспоминаний в его собственных категориях, выражениях и образах. Эта стратегия разделяется и применяется если не всеми, то большинством исследователей, использующих методы устной истории в работе с памятью. Почти всякий раз, когда речь заходит об основополагающих принципах устно-исторического интервью, подчеркивается, что уметь *молчать и слушать* собеседника для интервьюера не менее важно, чем уметь *говорить* (задавать вопросы) (Мельникова 2020; Петров б.г., 2021). За этим вроде бы чисто техническим коммуникативным правилом (не перебивать, выдерживать паузу, использовать мимику) стоит определенная концептуализация интервью, согласно которой его главным содержанием является речь информанта, включающая его собственные воспоминания и суждения. Акцент делается на оригинальности получаемой информации, поэтому любые внешние воздействия на речь собеседника рассматриваются как *искажения* его авторского мнения и высказывания. При этом едва ли не главная угроза исходит от самого интервьюера, то и дело в разговоре транслирующего свою картину прошлого, оперирующего собственными категориями и концептами, актуализирующего одну повестку и опускающего другую. Поэтому авторы методических пособий по устной истории предупреждают об “*опасности* влияния ведущего на содержание ответов и оценок (курсив наш. – П.К., А.С.)”, призывают интервьюеров к сдержанности в проявлении собственных реакций, предостерегают от дискуссий с собеседником (Щеглова 2011: 116; Oral history interview 2018). Словом, перед интервьюером встает непростая задача оградить собеседника от самого себя как источника помех, и в этой логике самым последовательным и радикальным решением для исследователя является самоустранение: “...самое сложное – научиться слушать и не перебивать. Ты присутствуешь где-то, положил диктофон, завел разговор, сказал: ну, я пошел, – и дальше человек продолжает разговаривать – это была бы идеальная ситуация” (Петров б.г.). Заметим, однако, что эта ситуация является “идеальной” в обоих смыслах слова – не только наилучшей, но и нереальной, – все-таки интервью без интервьюера едва ли возможно...

В упомянутой выше концептуализации интервью рассматривается как своеобразная процедура по получению от собеседника уже имеющегося у него (или же производящегося непосредственно в процессе разговора) материала/информации/данных. Пожалуй, наиболее наглядно такой подход проявляется в парадигме условной классической фольклористики, где фольклор существует как реальность особого рода независимо от воли и мысли собеседника. Последний же выступает как его носитель и транслятор – исполнитель фольклорных текстов, тщательно *собираемых* исследователем (= “собирателем”).

Устная история во многом отличается от фольклористики, но имеет с ней немало общего как в инструментарии, так и в некоторых важных принципах. Не разделяя прямолинейную текстоцентричную парадигму (давно критически переосмысленную и в самой фольклористике), современные исследователи,

работающие с воспоминаниями, тем не менее часто исходят из нарративной природы памяти и в своей работе с материалами интервью нацелены прежде всего на анализ нарративных стратегий и повествовательных моделей, по которым эти воспоминания выстраиваются (*De Fina 2009*). В результате главным объектом исследования и основным материалом здесь оказываются *нарративы*, а наиболее подходящей формой высказывания – монологичное повествование. Как справедливо замечает Е. Мельникова, “самая естественная форма общения двух людей – диалог, а не монолог. Но во время интервью нужно помнить, что ваша задача – записать рассказ, историю, нарратив” (*Мельникова 2020*). Стало быть, именно стремление записать рассказ заставляет исследователя выбирать менее естественный формат общения.

Противопоставление искусственного и естественного отсылает нас к тому, о чем пишет А. Касаткина: к институционализации интервью как искусственного жанра в антропологическом поле. В этом контексте стремление нейтрализовать интервьюера направлено на компенсацию этой искусственности и создание наиболее естественной ситуации. Такое интервью кажется приближенным к включенному наблюдению, при котором, как считается, исследователь минимально влияет на предмет своего изучения.

Между тем выходит, что для приближения к естественной ситуации мы выбираем заведомо более искусственную форму коммуникации. С точки зрения антропологического изучения памяти этот очевидный парадокс, на наш взгляд, указывает на некоторые изъяны описанной стратегии. Вкратце они сводятся к следующему.

Во-первых, в антропологической оптике взгляд исследователя сфокусирован не собственно на текстах, а на стоящих за ними *представлениях* человека о прошлом. При всей значимости нарративизации в форматировании воспоминаний, память не ограничивается рассказами и историями, многое (и важное – отношение, эмоции, сомнения) остается за пределами не только повествования, но и вообще вербализации и проявляется в коротких репликах, мимике, умолчании – словом, в разнообразных элементах естественного общения. Поэтому источником для реконструкции интересующих нас представлений о прошлом являются не только (безусловно ценные) цельные нарративы, но и то, что за их пределами. Иначе говоря, нам важен *процесс коммуникации в целом*.

Во-вторых, само стремление оградить говорящего от посторонних воздействий, создав идеальные “лабораторные” условия для рассказа, подразумевает возможность некоего “чистого” авторского высказывания, независимого от внешних факторов. Между тем это едва ли возможно: по мнению исследователей интервью (как полевого метода и речевого жанра), оно представляет собой далеко не нейтральное экспериментальное поле, а ситуацию *социального взаимодействия*, где интервьюируемый – не изолированный информационный процессор, автоматически решающий предлагаемые когнитивные задачи, а полноправный участник этого взаимодействия, исполняющий определенную социальную роль, учитывающий меняющийся контекст и всякий раз подстраивающий свою речь под конкретную коммуникативную ситуацию (*Садмен и др. 2003: 14, 67, 247–249; Макаров 2003: 104*). Такая интерпретация интервью заставляет иначе трактовать и внешние воздействия на рассказчика: не как нежелательные искажения оригинального высказывания, а как неизбежные контекстуальные эффекты или факторы влияния.

Наконец, многолетний опыт устной истории, с одной стороны, и психологические и когнитивные исследования памяти – с другой, показывают несо-

стоятельность распространенной модели памяти как автономного хранилища, а, напротив, демонстрируют ее динамичный характер: информация о прошлом не “извлекается из памяти” в готовом виде, а производится непосредственно во время коммуникации, причем всеми ее участниками – “конечный результат интервью создается усилиями как рассказчика, так и исследователя” (*Портелли* 2003: 47). Что, разумеется, не отменяет возможности использования готовых нарративов и повествовательных моделей.

Все это позволяет (или заставляет?) иначе взглянуть на рассматриваемую ситуацию. Динамическая природа памяти и диалогический характер интервью делают присутствие интервьюера в разговоре не только допустимым, но и необходимым: коль скоро он является полноценным участником “производительного процесса”, принципиально важно принимать его во внимание так же, как и факторы, определяющие контекст (пол, возраст и социальные характеристики говорящих, их настроение и состояние, обстоятельства и обстановку встречи и т.д.). Причем речь идет о необходимости введения интервьюера в исследовательское поле не только при анализе интервью, но и собственно при его проведении. Иными словами, при таком подходе исследователям следует не самоустраняться, а полноценно участвовать в разговоре, который при этом максимально удаляется от институционального полюса и приближается к свободной беседе. Заметим, что и в этом случае интервью также оказывается схожим с включенным наблюдением, только на этот раз не за счет минимизации нашего воздействия на поле, а, напротив, в силу органичного включения в него.

Итак, перед нами две разные исследовательские стратегии, направленные на воссоздание естественной ситуации во время интервью. Несмотря на то что предшествующее рассуждение строилось как обоснование одной из них, мы далеки от того, чтобы признать абсолютно верной именно ее. Обе стратегии опираются на разные послышки и концептуализации, но каждая обоснованна и эффективна в рамках своей исследовательской логики. Обе они ориентированы на создание наиболее естественного (наименее “инвазивного”) метода и на этнографичность, хотя она понимается и достигается по-разному. Выбор стратегии в каждом конкретном случае зависит от методических предпочтений и тактических задач исследователя. Стремление приблизиться к “чистому” субъективному опыту диктует выбор в пользу нивелирования влияния интервьюера, а коммуникативный характер воспоминаний требует его участия.

Очевидно, наличие в одной сфере исследований двух противоположных, но одинаково легитимных стратегий указывает на неразрешенное противоречие в антропологическом изучении памяти. Следы этой коллизии можно встретить, например, в работах по устной истории, где остается актуальным вопрос выбора между интервью и беседой при определении основного метода сбора материала, а каждое утверждение относительно участия интервьюера в разговоре непременно сопровождается оговорками (см, напр.: *Щеглова* 2011: 90–124; *Shopes* 2012: 2; *Ritchie* 2014: 32–35). Эта противоречивость не позволяет объединять упомянутые стратегии в рамках одного исследования – похоже, возможно лишь их последовательное использование, ориентирующееся на методику “нарративного интервью” Ф. Шютце и Г. Розенталь, когда в первой части разговора исследователь по возможности воздерживается от участия, а во второй, наоборот, активно включается в коммуникацию (пример такого сочетания см.: *Календарова* 2006: 204–205). Вторая часть, как правило, помогает существенно дополнить записанные рассказы, внося немало уточнений и значимых деталей, корректируя сложившуюся картину, порой довольно радикально. А в некоторых

случаях активное участие интервьюера в беседе и вовсе становится единственной возможностью получить какой-то материал.

Именно такая ситуация сложилась во время нашей полевой работы на Сахалине в марте 2021 г. Основным предметом нашего исследования была память жителей Южно-Сахалинска и других крупных городов острова о 1990-х годах. Мы хотели узнать, насколько сложившиеся в культуре клише, например, “лихие 90-е”, соответствуют реальным воспоминаниям людей. В ходе работы выяснилось, что мы имеем дело с воспоминаниями, которых, по сути, не существует: этот период, несмотря на свое значение в новейшей истории России (а возможно – вследствие тех потрясений и стремительных изменений, которые произошли с нашими собеседниками в это время), еще не был осмыслен в исторической памяти, не приобрел черты сложившегося нарратива (или нарративов). В этом состояло существенное отличие памяти о 1990-х годах от памяти о крупных событиях, таких, например, как блокада Ленинграда, освоение целины или строительство БАМа, история которых, как правило, уже оформлена в более или менее четкий нарратив, воспроизводимый рассказчиком с некоторыми вариациями, но без особых затруднений.

Начиная работу по исследованию исторической памяти о 1990-х годах на Дальнем Востоке, мы, с одной стороны, хорошо осознавали, какие существуют “готовые” формы памяти об этом времени в культуре, а с другой – не хотели навязывать нашим собеседникам ни эти формы, ни жесткие временные рамки. В начале беседы мы объясняли, что наше исследование посвящено исторической памяти и истории повседневности в дальневосточном регионе в период с 1970-х годов по настоящее время. Мы расспрашивали людей об их жизни, надеясь, что сможем “естественным образом” выйти на воспоминания, относящиеся к 1990-м годам. Однако, к нашему удивлению, оказалось, что именно этот хронологический отрезок как будто отсутствует в памяти сахалинцев. Раз за разом мы сталкивались с ситуацией, когда собеседник, подробно рассказывавший о своей жизни в разное время, никак не фиксировал в своем повествовании интересующий нас период. Более того, события, относящиеся к этому времени, то и дело выпадали из его рассказа. По сравнению с насыщенным описанием советского и современного периодов переломная эпоха 1990-х как будто отсутствовала, что, конечно, само по себе было интересным феноменом и стало важным результатом исследования.

Мы предположили, что объяснить это можно либо выбором неверной стратегии работы, не позволяющей выйти на интересующую нас тему, либо отсутствием у наших собеседников слов и образов для того, чтобы говорить о 1990-х годах, иными словами, память о них еще не приобрела каких-либо “готовых” форм. Хотя обе интерпретации были возможны, два факта говорили в пользу последней. Во-первых, эта ситуация повторялась практически со всеми нашими собеседниками; мы пробовали разные приемы, но безуспешно. Во-вторых, с одной группой респондентов интервью проходили по иному сценарию. Речь идет о представителях корейской диаспоры Сахалина. Корейцы прибыли на остров в межвоенный период как трудовые мигранты для работы на японских предприятиях. Однако после окончания Второй мировой войны, в отличие от японцев, которые были депортированы из СССР, корейцам запретили покидать Сахалин, и они оказались разлучены со своими родственниками и близкими, оставшимися в Корее. После первого телемоста Южно-Сахалинск–Тэгу–Сеул в 1990 г. начался быстрый процесс восстановления связей, и сахалинские корейцы получили возможность репатриации и/или посещения родственников (Кузин 2010).

Таким образом, для корейской диаспоры Сахалина 1990-е годы были связаны не только с политическими преобразованиями и экономическими потрясениями, но и с долгожданной возможностью вернуться на историческую родину. Интервью с представителями корейской диаспоры существенно отличались от остальных, поскольку нарратив “о 90-х” как о времени получения свободы передвижения и возможности контактов с соотечественниками уже был сформирован. В их биографическом повествовании именно этот период оказывался наиболее проработанным.

Таким образом мы пришли к выводу, что отсутствие оформленного нарратива о 1990-х годах в рассказах наших собеседников связано скорее с тем, что сам этот период еще не был ими осмыслен, еще не стал частью их памяти. Осознав это, мы обратились к иной стратегии: в первой части разговора мы позволяли собеседнику максимально самостоятельно сформулировать свои мысли, задавали лишь общие вопросы о его жизненном пути, как и прежде, никак не акцентируя наш интерес к 1990-м годам. Как и прежде, мы получали отрывочные сведения об интересующем нас периоде, которые не были связаны единым нарративом, категориальным аппаратом или образами. Во второй же части интервью мы предпринимали своего рода интервенцию: активно делились с респондентом своим опытом переживания 1990-х годов, рассказывали, какие именно образы и стереотипы об этом времени являются “рабочими” для нас, спрашивали, совпадают ли они с теми, которые есть у них, – и в ответ, как правило, получали более эмоциональный отклик.

По нашим наблюдениям, между первой (обезличенной) и второй (коммуникативной) частями интервью была определенная разница. Она заключалась не столько в содержании нарратива, наборе представленных в нем биографических фактов или культурных стереотипов, к которым отсылал собеседник, сколько в тональности, степени открытости и доверительности разговора. Для данного исследования этот в общем предсказуемый эффект был особенно значим, и вот почему.

Мы не анонсировали наш разговор как интервью об исторически значимых событиях, участниками или свидетелями которых были наши собеседники, мы не предлагали им высказаться по важным для них вопросам, не предоставляли им возможности говорить от лица какой-либо группы и т.д. Фактически мы оставались для них чужими людьми, которые по не вполне понятной причине ожидают откровенного рассказа об их жизни. В первой части беседы отношения доверия между нами, основанные на ценности знания и опыта информантов, просто не могли сложиться, поскольку у наших собеседников не возникало желания делиться своими историями. И только упомянутая выше интервенция, включавшая откровенный рассказ о нашем собственном опыте, служила той почвой, на которой выстраивались такие отношения. Наш рассказ о себе, по сути, был демонстрацией открытости, он показывал, что мы говорим с собеседником на равных. Благодаря этому ситуация становилась гораздо более естественной, а коммуникация более непринужденной. И именно в этом “режиме” нам удалось получить от своих собеседников более содержательные реакции, позволившие связать их предыдущие обрывочные ответы в некую единую картину, а главное – выявившие эмоциональное отношение к обсуждаемым сюжетам и темам.

Итак, наш опыт вполне подтверждает тезис А. Касаткиной об этнографичности интервью. Включение интервьюера как полноценного собеседника в поле коммуникации (на всех этапах – и непосредственно в процессе разгово-

ра, и позже во время анализа записи) представляется не только теоретически обоснованным, но и практически оправданным. Происходящее при этом переключение жанров, смена и перераспределение ролей, нарушение конвенций о праве на вопрошание и на монологический ответ – все эти действия и элементы коммуникации, приводящие к преодолению жанровых границ интервью и неизбежно уменьшающие его институциональность, представляются весьма продуктивными и легитимными в качестве специальных исследовательских приемов (а не просто случайных произвольных шагов). Во многих случаях они позволяют не только получить материал по теме исследования, но, как справедливо замечает автор обсуждаемой статьи, углубить или расширить затрагиваемую проблематику.

Однако такие действия и ситуации дают еще один, пусть и побочный, но не менее важный эффект: они провоцируют рефлексию по всегда актуальным вопросам о природе и принадлежности антропологического знания, об этике и тактике исследования, о тех границах, которые мы выстраиваем и преодолеваем в поле и в кабинете. Тем самым они помогают нам оставаться в “методологическом тоне”, *включаясь в разговор* не только с информантами, но и с коллегами.

НАУКА СТАРАЯ – ИДЕИ НОВЫЕ

Т.А. Листова

Именно в таком ракурсе я восприняла предложенную для обсуждения статью А. Касаткиной, посвященную методике полевой работы. Привлекло и заинтересовало меня уже само название – “Этнографично ли этнографическое интервью?”. Ведь автор обращается к нашей старой доброй этнографии, которая в последние десятилетия оказалась в статусе “служебной дисциплины” в пространстве более фундаментальной науки, таксономически стоящей выше на шкале гуманитаристики, – социально-культурной антропологии. Появление данной статьи, тем более предполагающей по решению редакции отклики коллег, можно отчасти считать признанием научной значимости собственно этнографии.

“А этнографы бросятся собирать все подряд... они будут рисовать узоры, они будут собирать фольклоры, они будут портить аппараты, заснимая города и хаты,” – это слова из старого гимна этнографов на мотив известного всем во времена моей молодости гимна геологов. Именно так выглядела наша студенческая практика, основанная не столько на умении работать в поле, сколько на любви к своей науке и энтузиазме, а также огромном интересе ко всему, что выходило за рамки унифицированной городской культуры. Мы спрашивали и спрашивали – неумело, не зная как “разговорить” информантов, как донести до них важность любой информации. Мне трудно сказать, в какой форме реализовывались наши коммуникации с населением, скорее всего, по принципу “как получится”. Но потихоньку мы учились у более опытных коллег и, естественно, на собственных ошибках. Наша полевая практика в дальнейшем менялась: ставились более прагматичные цели, а работа становилась более продуманной и структурированной. Желание спрашивать “все подряд”, поскольку все интересно, сдерживалось тематикой исследования и ограниченностью времени, тем более что записи велись от руки. Но энтузиазм оставался прежним, без него в поле, собственно, лучше не ездить.

В конце 1980-х годов расширилось социальное звучание этнографической науки, трансформировались ее сущностные параметры, изменились тематика и основные объекты изучения. В исследовательское поле активно включались проблемы познания человека как социально-культурной и ментальной единицы – в России это было связано не только с мировым трендом, о чем пишет А. Касаткина, но и со снятием идеологических ограничений в изучении духовной культуры. Новая тематика потребовала внесения корректив в построение и проведение опросных бесед. В эти же годы основным инструментом работы с респондентами стали диктофоны, что дало исследователям возможность резко повысить качество полевых материалов, в том числе и за счет увеличения числа опросов, а главное – исключить опасность упущения каких-либо фактических данных или эмоциональных нюансов рефлексии собеседника. В своей сегодняшней экспедиционной работе я стараюсь максимально расширять поле исследования. Я задаю вопросы по самым разным – не всегда имеющим непосредственное отношение к изучаемой на данном этапе теме – сюжетам местной культуры и помню о том, что эти записи пополнят фонды этнографии и, возможно, понадобятся следующим поколениям ученых. Естественно, результативность таких опросов зависит не только от “хорошего”, с точки зрения этнографа, информанта, но и от умения исследователя “активизировать” информационные возможности своего собеседника. В контексте неизменно актуальной проблемы: какие приемы и методы использовать в общении с респондентами, чтобы получить максимально содержательную информацию, статья А. Касаткиной не может не вызвать интерес у тех, кто понимает важность и сложность полевой работы. Однако, должна признаться, мне пришлось не один раз перечитать текст, чтобы понять логику построения и обоснования предложенной автором методики полевых разговорных коммуникаций.

Для меня этнография была и остается дисциплиной исторической, изначально ориентированной на изучение современности, – а это невозможно без обращения к корням культурных явлений. Я отношу себя к классической школе этнографии, задачей которой было изучение этнических культур, что определяло векторы и методы полевой практики ученых. В предложенном А. Касаткиной варианте этнографического исследования нет исторического ракурса, хотя в приведенном ею в качестве “наглядного пособия” сюжете полевой коммуникации элементы истории все-таки есть. Перед нами скорее весьма интересное и своеобразное соединение лингвистики с философией. Результативность в этом случае будут напрямую зависеть от того, что, собственно, каждый исследователь хочет получить в конце. В опросном исследовании я акцентирую внимание не только на содержании беседы (меня интересуют любые сведения, которые может сообщить респондент, в рамках изучаемых мной тем, его аналитические суждения), но и на эмоциональной окрашенности его рефлексии, касающейся как выдаваемой мне информации, так и моих вопросов. Указанные задачи требуют обычно использования самых разных форм разговорной коммуникации с собеседником. Насколько я понимаю, А. Касаткина ставит иную цель: теоретический анализ самого процесса разговорного общения с информантами, его возможностей и интерпретации с определением ролей каждого участника беседы. Практический результат исследования садоводческих товариществ ее интересует меньше. Иными словами, мы (я и автор статьи) можем изучать одну этнографическую реальность, но разная оптика исследования будет высвечивать разные ее сущности.

Статью А. Касаткиной можно условно разделить на три части: 1) обоснование

собственной концепции, размышления о ней и возникающие в этой связи вопросы; 2) “экспериментальная площадка”, демонстрирующая на конкретных примерах возможности актуализации теоретических позиций автора; 3) аналитические предложения, касающиеся обработки полевых записей.

Но прежде, чем перейти к замечаниям по поводу содержания статьи, я хотела бы попросить автора пояснить те положения, которые определяют основную задачу исследования, а именно: что значит “недостаточность этнографичности” и что такое “этнографичность” в позиционировании различных методов получения информационного материала. Некоторое недоумение у меня вызвали и поставленные автором вопросы, касающиеся полевой работы. Как я понимаю, они имеют несколько риторический характер, без указания адресата – таким путем автор как бы прощупывает дорогу к оптимизации работы с информантами. Впрочем, ответы на эти вопросы каждый опытный полевик может дать, основываясь на своей практике, более того, показать на различных примерах их зависимость от конкретной ситуации. Далее из приведенного списка проблем использования интервью в этнографии А. Касаткина выделяет “ключевую”, что, как мне кажется, требует большей ясности. Из текста статьи следует, что проблемными, с точки зрения автора, являются две позиции: (1) статус и правомочность интервью как метода опросной работы этнографа и (2) логически (по мнению А. Касаткиной) обусловленное и проблематизированное этим соотношением интервью с традиционным для этнографии методом включенного наблюдения. Сразу скажу, что я не вижу поводов усматривать существование реальной проблемы в обоих случаях, но рассуждения А. Касаткиной, движение ее мысли вызывают интерес и заставляют задуматься о точках расхождения с позицией автора.

Совершенно справедливо отмечая сложность определения того или иного жанра разговорной коммуникации с информантами, а равно и естественную для любого разговора гибридность форм, автор считает нужным выделить интервью как особую форму общения, выходящую, по ее мнению, за рамки традиционных этнографических методов работы. В этом отступлении от традиции она видит проблему, разрешить которую и вернуть интервью в пространство этнографического исследования помогут предложенные ею варианты построения и осмысления разговорных коммуникаций. Это понятная исследовательская позиция. Другое дело, возникает ли у этнографов, много лет работающих в поле, потребность в четкой номинации отдельных разговорных эпизодов единой, часто весьма продолжительной беседы с информантами, где один акт может спонтанно переходить в другой, не нарушая общую канву разговора.

Для себя в формате интервью я нередко определяю беседу с должностными лицами с целью получения необходимых данных общего характера, причем в этом случае мой собеседник далеко не всегда на протяжении разговора занимает позицию с “внешней стороны” своей культуры. Беседа может начаться достаточно официально, но, в зависимости от интереса, который проявляет респондент к моим исследованиям, а также от того, насколько он изначально вписан в культуру локального социума и воспринимает ее как свою, разговор может приобрести более интимный и этнографически информативный характер, актуализирующийся в разных опросных формах. Главными здесь для меня будут содержание и аналитические рефлексии собеседника. Но, описывая формат такого общения, я как равноценные могу использовать выражения: “я опрашиваю”, “я собираю информацию”, “я провожу опрос”; аналогичным образом определяю и свои беседы с обычными информантами. Иными словами, у меня нет потребности,

и я не вижу необходимости в четкой номинативной фиксации разных вариантов проведения разговора с респондентом. Я могу употреблять и обобщающий термин “беседа”, имея в виду не какой-то определенный жанр разговорной коммуникации, а просто сам факт речевого контакта. Реально это может быть и диалог, и жестко ориентированный опрос, и монолог информанта, и т.д.

Можно добавить, что понятие “интервью” ассоциировалось у этнографов скорее с журналистикой, нежели с социологией, что и определяло специфику отношения к данному варианту работы с информантами. Поскольку журналистские исследования, с точки зрения ученых, имеют более легковесный и ситуативный характер, тем более что их авторы не всегда стремятся к достоверности в освещении действительности, то и термин “интервью” ассоциировался с более низким (в научном плане) уровнем и самого опроса, и интерпретации полученного в его ходе материала. Не знаю, как у молодого поколения этнографов, но у нас выражение “работает на уровне журналистики” имело явно уничижительный оттенок.

Поскольку в этнографии нет четкого определения понятия “интервью”, а замысел автора требует выделить его из общей речевой практики, А. Касаткина предлагает свои “правила игры” с теоретическими классификационными ориентирами и, используя их, определяет статус данного вида коммуникации. Как мне кажется, построение шкалы с определением места разговорных жанров в зависимости от их институциональности интересно, но не слишком продуктивно, тем более что при дальнейшем анализе отдельные сюжеты могут получить новое звучание. Однако это право исследователя – предлагать и демонстрировать на примерах возможности не очень привычной для традиционной этнографии методики полевого опроса.

Автор приводит расшифровку своих записей общения с информантом с последующим “разбором полетов”. Она анализирует каждый вопрос и буквально препарирует каждый ответ, предлагая свою оценку результативности и интерпретации полученного материала, что делается, как мне показалось, весьма интересно, но с допущением некоторых “натяжек”, подтверждение или отрицание которых требовало бы дополнительных вопросов в разных контекстах. Этот разбор показывает желание автора не только принять к сведению ответ, но и увидеть за ним более широкую информационную перспективу. Для того чтобы понять, насколько данный метод оказался полезен, я бы хотела увидеть конечный результат исследования А. Касаткиной с объяснением того, что, собственно, она хотела выяснить и какие общие выводы сделала.

У меня возник еще один вопрос: предложенная автором методика касается лишь аналитической обработки собранного материала или предполагается, что каким-то образом она может определять построение каждой беседы в реальном времени?

Использование в работе методик и теорий смежных гуманитарных дисциплин, что делает автор, может оказаться весьма продуктивным и показать особенности этнографической реальности в новом ракурсе. В последние годы в антропологии большое место уделяется проблеме соотношения исследователя и носителей информации¹, особенно с точки зрения построения и анализа разговорной коммуникации, роли каждого из действующих лиц. А современная тематика, направленная на изучение самосознания и духовного мира человека, требует развернутых интервью, в процессе которых могут возникать диалогические споры или совместные рассуждения информанта и исследователя, кроме того, ответы интервьюируемого могут породить новые

вопросы и новые мысли у интервьюера. Такой формат беседы позволяет говорить о двойственном производстве знания. Поэтому в современных публикациях я, как и многие мои коллеги, стараюсь при цитировании записей давать не только ответ, но и вопрос, поскольку такой порядок изложения проясняет общую направленность и логику конкретной беседы. Учитывая своеобразие разговорных форм, А. Касаткина предлагает для их анализа привлечь диалогическую концепцию М. Бахтина, утверждающую, что все собеседники играют одинаково важные роли. Мы обычно не задумываемся над тем, в каком жанре работаем, а применяем все возможные приемы и методы, стараясь максимально “активизировать” своего собеседника, чтобы вызвать встречную рефлексивность. Думаю, что если я начну анализировать записи моих полевых бесед, то обнаружу там все варианты речевой коммуникации. Более того, я пришла к выводу, что многие из весьма содержательных моих разговоров с информантами вполне укладываются в диалогическую теорию М. Бахтина. Поскольку прежде с такой точки зрения я на свои записи не смотрела, то вдруг почувствовала себя сродни тому мольеровскому мещанину, который обнаружил, что всю жизнь говорил прозой. Это, конечно, совершенно профанная примитивизация философской концепции выдающегося ученого, теоретически обосновавшего интерактивную природу беседы-диалога.

А Касаткина затрагивает еще один весьма важный для построения речевой коммуникации аспект. Я имею в виду процесс и последствия взаимодействия интервьюера и респондента. Своими вопросами мы нередко зарождаем сомнения в душе собеседника. Так, в процессе сбора информации по обрядово-праздничной культуре русских мне не раз обеспокоенно задавали встречный вопрос: “А что, у вас не так? А что, так не надо?”. Анализируя свое интервью, А. Касаткина отмечает тот факт, что она определенным образом повлияла на осмысление организации дачной жизни своим собеседником. Это свидетельствует о том, что заинтересованность в беседе проявляли обе стороны. Но возникает вопрос: соответствует ли данный результат кодексу этнографии, один из принципов которого говорит об изучении без вторжения в культуру исследуемого объекта. Другое дело, что, независимо от наших благих намерений, ответная рефлексия может иметь место.

Трактуя особым образом понятие “интервью”, автор усматривает неизбежное возникновение коллизий в соотношении данного речевого акта и метода включенного наблюдения. Я могу согласиться с тем, что термин “интервью” не входит (точнее, не входил) в лексикон этнографа. Однако не вижу оснований утверждать, что интервьюирование настолько плохо согласуется с включенным наблюдением, что для их совместного применения требуется примиренческий компромисс. Я бы не стала выделять какой-либо метод в качестве основного, сама специфика поля нередко определяет преимущественное использование одного из них, но оптимальный результат дает сочетание всех методов получения информации. Возможно, работая в экзотических, малоизвестных науке регионах, этнограф, как говорит автор, стремится стать естественной частью ландшафта. Я таких попыток никогда не предпринимала. Во-первых, считаю это непродуктивным и предпочитаю сразу позиционировать себя как исследователя. Во-вторых, я работаю в русском этническом пространстве, которое воспринимаю не как чуждое, а, в сущности, как родное для меня, бесконечно разнообразное и одновременно единое. Поэтому, видимо, “погружаясь” в этнографическую реальность, я естественным образом ощущаю себя одновременно и варягом, и инсайдером.

Я бы сказала, что в полевой работе метод включенного наблюдения в зависимости от ситуации (естественной, попадая в которую ученый, независимо от желания, знакомится с новым для него культурным ландшафтом, постигая постепенно его специфику, или искусственно созданной) будет определяться по-разному (проявлять две ипостаси). Например, я специально напрашиваюсь в гости, а еще лучше на проживание к местным жителям, что дает возможность увидеть изнутри домашний обиход, поучаствовать в семейных беседах, направляя их по возможности на интересующие меня темы, тем самым одновременно реализуя оба метода полевой работы.

А. Касаткина выносит на обсуждение свой вариант оптимизации полевой работы, возможно, для нее он является весьма продуктивным. Думается, ее теоретические построения и наглядные примеры могут быть интересны студентам-этнологам. Не уверена, что они помогут им на практике, но, во всяком случае, дадут пищу для размышлений. Однако опыт показывает, что результативность работы с респондентами зависит от очень многих факторов: от собеседника; от умения разговаривать человека, вызвать его на полную открытость, побудить “излить душу” (от “дара обиходности”, как назвал это качество И.С. Тургенев в одном из своих романов); от подготовленности интервьюера, его умения ставить вопросы. И, наконец, исследователь в поле должен постоянно сомневаться в окончательности полученных результатов, не оставляя усилий их проверить и подтвердить.

Техника и методика опроса определяются в самом процессе коммуникации. Одного информанта нужно забрасывать вопросами, с другим – не торопиться, давая время на раздумья, на воспоминания, третьего – провоцировать, заставляя давать более развернутые ответы; в одних ситуациях демонстрировать полную неосведомленность в теме, а в других представлять человеком “знающим и понимающим”. В любом случае нужно дать понять информанту, что он сам, его мнение интересны интервьюеру. Вектор исследования намечается еще в кабинете, до выезда в поле, но ответы респондентов, их неожиданность и оригинальность могут не только скорректировать его, но и дать ему новое направление.

В практике опросов я придерживаюсь еще одного правила: даже если позиция собеседника абсолютно ясна, нужно добиваться того, чтобы он сам озвучил ее (запись на диктофон), что гарантирует достоверность информации.

В коммуникациях мы часто выступаем в роли и следователей-дознателей, и психологов, поскольку выявляем болевые точки, иногда приводим собеседника, даже ненамеренно, к горьким воспоминаниям. Проявления искренней эмпатии нам приходится сдерживать из-за необходимости сохранять нужное направление беседы. Сейчас я стараюсь тактично относиться к информантам, но прежде, к сожалению, не раз жестко подходила к проведению опроса, игнорируя физическую и психологическую нерасположенность собеседника к разговору, оправдывая себя тем, что вместе с этим человеком могут уйти уникальные этнографические данные.

Существует еще один немаловажный, во всяком случае для меня, нюанс коммуникативной работы. Я имею в виду возникающее при контактах с информантами чувство если не вины, то некоторого нравственного дискомфорта из-за того, что чужое время, чужие знания, а главное чувства и эмоции, искренняя расположенность ко мне будут не только использованы в научных целях, но и монетизированы. Те небольшие подарки, которые мы покупаем сами для своих информаторов, нельзя считать (да и не воспринимаются нами) адекватным возмещением за получаемые сведения и душевное расположение людей.

* * *

Я привела некоторые размышления, основанные на моей многолетней полевой практике, только чтобы показать множественность факторов, влияющих на успешность выполнения исследовательского проекта. Разнообразные варианты речевого общения, обеспечивающие получение информации, – это важная составляющая экспедиционной работы этнографа. Предложенная в статье А. Касаткиной концепция проблематизации, рассмотренная на примере одной из коммуникативных форм – интервью (в собственной интерпретации автора), представляет, по-моему, интерес скорее как научная гипотеза. Однако, как мне кажется, если рассматривать теоретические разработки автора с точки зрения их практического применения, то окажется, что они не выходят за рамки этнографической традиции полевых исследований, использующей все варианты разговорного жанра.

Примечания

¹ См. напр.: Антропологический форум. 2005. № 2.

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ: НА ПУТИ К ПОНИМАНИЮ

И.А. Разумова

Рассматриваемая в статье А.К. Касаткиной проблема определяется как “недостаточная этнографичность интервью” – ее формулировка неоднозначна, а обсуждение приводит к некоторым противоречиям. Во-первых, речь идет о возможностях и ограничениях использования в этнографии метода, который применяется в разных научных дисциплинах. Во-вторых, необходимо прояснить значение самого термина “интервью”, его соответствие предпринимаемым исследовательским действиям, его включение в язык этнографического описания. Кроме того, следует проанализировать отношение этнографов и к этому термину, заимствованному у социологов, и к обозначаемому им методу. Наконец, ключевой вопрос, поднимаемый автором статьи, связан с тем, что беседы с информантами постоянно проводятся, записываются и используются этнографами, но этнографы не имеют отработанной методики для корректного извлечения из них “этнографической информации”. Спрашивается, насколько здесь могут помочь методы анализа устной речи? Положительный ответ, казалось бы, предрешен, но, с моей точки зрения, он должен быть аргументирован.

Обилие проблемных вопросов в одной статье предопределяет незавершенность их обсуждения. Конечно, у этнографов, давно и продуктивно работающих в поле, есть ответы на большинство этих вопросов, но, как известно, когда наука перестает переосмысливать свои методы, она заканчивается.

Термин и метод. Можно признать, что термин “интервью” в этнографии сейчас вполне прижился не только в описании программ, методик исследований, в отчетной документации, но и в повседневном профессиональном общении. Между тем у части полевиков он продолжает вызывать отторжение, а значения, которыми он наделяется, варьируют. Отчасти это вопрос привычки, но в большей степени – методологических установок и отношения к междисциплинарным взаимовлияниям. Принятие термина пришло с осмыслением

того обстоятельства, что получение информации путем устного собеседования с “информантом” у этнографов, “источником” у историков и “респондентом” у социологов, использующих качественные методы, осуществляется в целом сходным образом. Иногда возникает ощущение, что этнографы переживают “пограничность” этого метода наиболее болезненно. Первый шаг на пути адаптации термина – разграничение беседы и интервью на основе противопоставления “естественности” и “искусственности” ситуации полевого разговора. Следующий шаг – институционализация “этнографического интервью” как правомочного метода, и А.К. Касаткина делает этот шаг.

Задавшись вопросом о различиях между этнографическим интервью, опросом и полевой беседой и стремясь упорядочить терминологию, автор статьи предложила, с одной стороны, использовать обозначение “интервью” как синоним “полевого разговора” и “полевой беседы”, с другой стороны, условиться о том, что интервью – частный случай полевой беседы (разговора). Возникает противоречие: данное автором определение интервью как “исследовательского разговора с носителями локальных знаний” соответствует первому значению, но оказывается шире второго. Вместе с тем оно точно в отношении ролей интервьюера и интервьюируемого.

В качестве специфики интервью как формы разговора можно с некоторыми оговорками принять его тематическую сфокусированность и запрограммированную вопросно-ответную структуру. Автор полагает, что интервью в этнографическом исполнении ближе всего к полуструктурированному и неструктурированному интервью в понимании социологов. Допустимо, но спорно. Прежде всего не очень понятно, почему типология интервью по степени формализации его структуры, принятая в социологии, не может быть использована этнографами или специалистами иного профиля. Заслуживало бы упоминания и успешно “работающее” в устно-исторических исследованиях нарративное интервью – в нем может не соблюдаться правило “не менее трех вопросов”, но это лишь одно (и очень условное) ограничение. По части этнографических данных в высокой степени информативны повествования, нередко полученные в ответ на один открытый вопрос, лишь иногда прерываемые уточняющими вопросами интервьюера как “благодарного слушателя”.

Предложение А.К. Касаткиной шкалировать полевые беседы, или разговоры, по степени “институциональности” логично, но для того, чтобы подход был реализован, недостаточно указанных характеристик интервью. Складывается впечатление, что институциональность проявляется в формализованности ситуации интервью (обстоятельств его проведения), стандартизации процедуры (вопросника) и структурной заданности полученного текста. На мой взгляд, с “институциональностью” дело обстоит сложнее. Основное ее значение связано с закрепленной в общественно-правовом статусе принадлежностью акторов, действий и их результатов к определенным социальным институтам. В случае полевой беседы статусы и роли участников асимметричны. Если интервьюер представляет научную корпорацию и следует ее нормам, в частности, ориентируясь на пресловутую “ответность”, то информант ни в коей мере не является “ответчиком”, хотя субъективно и может себя таким осознавать. Более того, он волен диктовать свои условия вплоть до отказа от интервью. На практике место и время собеседования, особенно в городских или поселковых условиях, как правило, выбирает информант – создания для него максимально комфортных условий требует кодекс исследователя. Исследователю предписан институциональный статус, его можно лишь скрыть от информанта, приняв дополнитель-

ную роль и используя для самопрезентации другие статусы. И это касается не только интервьюирования. Неформальные отношения между этнографом и “носителем локального знания”, безусловно, возможны, но вне ситуации интервью и вообще вне исследовательских задач, “в идеале” – при условии, что информант не знает о профессиональной принадлежности и цели собеседника (обман или “игра” не считаются). По логике вещей, в этом случае результат общения не является материалом не только для отчета, но и для научной рефлексии. Возможно ли такое для этнографа, антрополога? Вряд ли. Многие определяется личностью исследователя.

Интервью и включенное наблюдение. Для аргументации позиций “этнографического интервью” требуется ни много ни мало обозначить, хотя бы в общем виде, целевую и объектно-предметную сферы этнографии. Автор статьи утверждает, что этнографические вопросы – это “вопросы о коллективных представлениях или культурных установках” (заметим, что в такой формулировке предмет изучения вполне “социологический”). Можно ли тогда заключить, что вопросы о традиционной технологии изготовления лодок не нацелены на получение этнографической информации?

Одна из причин недоверия к интервью коренится в жесткости институциональных требований к его проведению. К ним относятся: обязательное согласие опрашиваемого на участие в интервьюировании и на использование средств записи, оформленное документом; информирование его о теме и цели научной работы; предписывание ему статуса “участника исследования”; документирование информации и отчетность и т.д. Эти требования сводят на нет все усилия этнографа по достижению “естественности” своего включения в среду в целом и в конкретную ситуацию собеседования в частности. Ранее в российской науке правила не были столь строгими, но сейчас положение дел меняется. Этнографическое сообщество защищает свою автономию от “учета и контроля”, в том числе отгораживаясь от “смежников”, чья профессиональная деятельность более регламентирована. Отказ от интервью как вполне привычной вопросно-ответной формы беседы, которая проводится по определенному плану, – не лучший выход.

Думается, нет необходимости “оправдывать” интервью, включая и строго структурированное, как этнографический метод. К примеру, информация о кулинарных предпочтениях, технологиях и представлениях добывается разными, взаимно дополняющими способами. Этнограф может участвовать в приготовлении блюд в роли ученика или мастера-кулинара, наблюдать за процессом со стороны, вести записи и видеосъемку, изучать рукописные тетрадки с рецептами, проводить интервью (от нарративного – с одним информантом, до формализованного – с большим числом участников) и т.д.

Признание интервью частью включенного наблюдения вполне возможно для конкретных исследовательских ситуаций, но и в этом случае неизбежен вопрос о том, как соотносятся в методическом инструментарии отдельные методы и технологии. В практическом применении такие методы как “устная история” или “case-study” представляют собой совокупность методик. В первом случае интервью является основным инструментом, во втором его использование определяется исследовательской программой.

Ассоциация и сопоставление интервью преимущественно с включенным наблюдением сомнительны, хотя и объяснимы. А.К. Касаткина задается вопросом о возможности “компромисса” между ними. Формулировка вопроса указывает на исходную “конфликтность” названных методов. Включенное на-

блюдение служит знаком отличия этнографии (антропологии) от других научных дисциплин, и какой бы метод ни применялся этнографом, есть искушение проверить его на соответствие именно включенному наблюдению. Само свойство “этнографичности” оказывается зависимым от “глубокого погружения в поле”. Между тем интервью – не только часть включенного наблюдения, это и самостоятельный, достаточно результативный метод этнографической работы, в том числе вне полевой обстановки. Условие одно – соответствие метода цели и предмету конкретного исследования. Скорее “интервью” следовало бы принять в качестве общенаучного метода, подобно тому как термин “наблюдение” используется и в естественных, и в гуманитарных науках.

Ситуация интервью и проблема интервьюера. Включенное наблюдение, как показывает вся история антропологии и этнографии, есть не только результат, но и процесс интеграции антрополога в изучаемую общность, формирования отношений доверия. Если реализуется идеальный вариант, и исследователь становится (или является – в зависимости от типа общности и идентификации) “своим”, он оказывается одновременно членом группы и представителем этнографической корпорации, изучающим эту группу. Будь то наблюдение любого типа, интервью или спонтанная беседа, его самоидентификация “изучающего” и, следовательно, роль будут постоянны, как и роль “изучаемого”, которая отводится собеседнику.

Занимаясь изучением культуры семейно-родственных групп, я привлекла студентов к собиранию материала в кругу своих близких. Это тот случай, когда исследователь полностью включен в общность и идентифицирует себя с ней. Среди методов была беседа с родственниками по вопроснику-путеводителю, т.е. по существу интервьюирование с аудиозаписью и последующей транскрипцией. Все студенты были знакомы с правилами проведения интервью, но выполнили работу по-разному, так как в этом конкретном случае не были связаны строгими методическими ограничениями. Большая часть ребят беседовала с родными в привычной для себя фамиллярной манере, варьируя вопросы, не проговаривая многое из того, что относилось к общему знанию, или, напротив, напоминая то, что родственник “упустил”. Но были и разыгравшие ситуацию “по ролям”: поздоровались, попросили информанта представиться, соблюдали порядок вопросов и т.д. Некоторые даже использовали в соответствии с методичкой обращение на “Вы” не только к родителям, но даже к братьям и сестрам, однако не выдержали до конца, тем более что близкие их в этом не поддержали. Поскольку целью работы было получение информации о конструировании истории семьи, событиях семейной жизни и материальных свидетельствах семейной памяти, можно сказать, что по большей части она была достигнута, хотя принцип единства методики при этом не был соблюден. Последующее обсуждение процедуры опроса прояснило проблему интервьюера, который, собирая материал в “своей” среде, одновременно является родственником, членом семьи, представителем своего поколения, исследователем и студентом, выполняющим задание. Насколько каждая из ролей влияет на ход конкретного интервью? В рассмотренном случае в разговоре родственников вполне естественным было редуцирование информации, известной обоим участникам (“Ну, ты знаешь ту историю, которую я все время рассказываю...”), или избегание вопросов и ответов на темы, которые в семье обсуждать и вспоминать не принято. Означает ли это, что в процессе интервью происходит “переключение” ролей? Полагаю, что главные роли интервьюера и интервьюируемого неизменны, поскольку предопределены ситуацией. Если в ходе разговора спрашивающий со-

общает или напоминает какую-то информацию, он делает это с целью выполнения своей основной задачи. Методика проведения даже формализованного интервью предполагает информационный обмен. Высказывание интервьюером собственных суждений – один из рекомендуемых в методической литературе и самых употребительных приемов, он мотивирует информанта. Поэтому сложно согласиться с тем, что включение суждений интервьюера в опросно-ответную структуру полевой беседы нарушает “правила жанра”, как пишет автор статьи. Предположение, что полевая беседа, да и собственно интервью, если вслед за А.К. Касаткиной признать его разновидностью полевой беседы, имеет свои характерные “жанровые” признаки, еще предстоит аргументировать.

Приведенные в статье фрагменты бесед с информантами призваны показать, как влияет практический опыт исследователя в сопоставлении с опытом его собеседника на развитие диалога. К этому надо добавить еще один важный фактор – степень и характер личного знакомства с информантом, которое включает опыт речевого общения. Наличие такого опыта создает условия для адаптации вопросов, выбора речевых средств, способов реагирования на высказывания собеседника и т.д., что хорошо известно всем практикующим интервьюерам, независимо от профессиональной специализации.

Применение бахтинской теории диалога, таких категорий анализа, как “речевая ситуация”, “речевой жанр” и других в изучении процесса получения этнографической информации основывается на важных теоретических постулатах. Прежде всего речь идет о том, что этнографическое знание есть результат общения человека изучающего и человека изучаемого, и понимание (как итоговая цель социально-антропологического исследования) достигается только с учетом всех контекстных обстоятельств их встреч и разговоров. Замечу, что эти методологические установки были обоснованы видными европейскими и российскими антропологами, этнографами, фольклористами, а позже и представителями веберовской социологии задолго до того, как их идеи начали развивать и переформулировать в 1980-е годы уважаемые авторы, цитируемые в статье.

Одна из проблем “институционального” характера заключается в том, что сохраняющаяся система профессиональной подготовки этнографов исключает освоение филологических методов работы с текстами, а это, в чем еще раз убеждает статья об этнографическом интервью, совершенно необходимо. Недостаток отчасти компенсируется только на этапе поствысшего образования и по большей части в порядке самообразования. Попытка рассмотреть полевой разговор с помощью филологического инструмента полезна и перспективна. Что касается интерпретации фрагментов интервью, приведенных в статье, то она может стать поводом для отдельной дискуссии, и за это можно поблагодарить автора.

ОТВЕТ ОППОНЕНТАМ

А.К. Касаткина

Сначала я хотела бы выразить глубокую признательность всем авторам реплик за то, что они включились в этот разговор и тем самым сделали его возможным. Ведь размышления о диалогичности как методологическом принципе могут, конечно же, разворачиваться только в форме диалога. Ответы пришли от представителей разных поколений этнографов, а также от исследователей,

близких к филологии или лингвистике. Так проявляется дисциплинарное поле, в котором в России существует дискуссия о полевом интервью. Помимо этнографии, здесь присутствуют исследования памяти, устная история, фольклористика. Можно констатировать, что на страницах этнографического журнала состоялся диалог между дисциплинами.

Прежде чем поделиться мыслями, возникшими у меня по ходу чтения реплик, я, откликаясь на возникшие вопросы, уточню некоторые положения исходной статьи. В частности, я проясню некоторые свои теоретические основания, которые не включила в изначальный текст, не желая его перегружать.

1. Этнографичность. Не хотелось бы делать вклад в проведение границ между дисциплинами и научными традициями. С одной стороны, я надеялась, что вынесение в заголовок этнографичности поможет мне найти отклик у тех коллег, кто ассоциирует себя, прежде всего, с отечественной традицией. С другой стороны, и в западной научной традиции (англоязычной, по крайней мере) интервью – один из этнографических методов, которым пользуются антропологи. Я хочу привлечь внимание к тому, что процессы адаптации полевого интервью в отечественной этнографии и англоязычной социальной антропологии были очень схожими и почти синхронными (1970-е – 1980-е годы) и вызывали похожие реакции и настороженность по одним и тем же пунктам. То, что и сейчас коллеги узнали себя в адресатах моего текста, который опирается на обе традиции, лишний раз подтверждает эту общность.

2. Центральная проблема статьи. В статье я хотела предложить рабочее решение для двух парадоксов:

- этнографы и антропологи все время берут интервью, но предпочитают говорить, что ведут наблюдение;
- интервью – это взаимодействие, но исследователи работают с ними так, как если бы это были тексты.

Я пришла к выводу, что первый парадокс рождает методологическую неопределенность, которая, в свою очередь, рождает второй. Если мы не признаем ключевую роль речевых взаимодействий в создании наших полевых материалов, то мы не видим необходимости в специальных методах для их анализа. Нам достаточно привычного арсенала для работы с полевыми заметками, частью которых оказываются и описания или расшифровки наших полевых бесед. С появлением портативных технологий аудиозаписи стало возможно записывать полевые взаимодействия, а значит, получать к ним доступ после окончания полевой работы. Наличие аудиозаписи разговора позволяет наблюдать его как взаимодействие, а не читать как текст в письменном пересказе¹. Это значит, что теперь можно применять к полевым интервью методы, разработанные для анализа речевого взаимодействия (конверсационный анализ, разные ветви анализа дискурса, этнография речи – семейство методов, иногда объединяемое под зонтиком лингвистической антропологии). Я уверена, что такой поход может помочь лучше и тоньше понимать собранные в поле материалы.

В основе этого подхода лежит не столько переключение внимания с содержания беседы на ее форму, сколько старый добрый тезис о единстве формы и содержания. Содержание высказываний может быть понято неправильно без учета не только контекста и реплик собеседника, но и интонации или паралингвистических событий (эмоции, кашель и т.д.) (*Rapley 2001; Касаткина 2017а*). Яркий пример здесь – ирония: значение иронического высказывания следует понимать противоположно его буквальному содержанию, но распознать иронию можно только по формальным признакам – интонации, смешкам и т.д.

Методы интервью и наблюдения тесно переплетены и необходимы в равной степени. Подход к интервью как к взаимодействию демонстрирует близость этих методов и помогает пользоваться ими более сознательно. В то же время, очевидно, что и наши представления о том, что такое метод наблюдения, тоже нуждаются в выведении на поверхность через обсуждение. На мой взгляд, и полевой разговор, и участие в неречевых взаимодействиях в поле (включенное наблюдение в “чистом” виде) представляют собой совместное производство знания. Но при этом только интервью (и чем более институционализированное, тем в большей степени) предполагает, что его участники займут метапозицию по отношению к действительности, т.е. посмотрят со стороны на общество, в котором живут (см. об этом в очень интересной статье (*Briggs 2007*), где автор рассматривает интервью как один из этапов жизненного цикла знания в обществе).

Набив руку на анализе взаимодействия, думаю, можно научиться лучше управлять течением и исследовательских, и бытовых разговоров. Но многое, конечно, зависит от человеческих особенностей исследователя: не всякий теоретик плаванья будет хорошим пловцом.

3. Бахтинский диалогизм, как мне представляется, предлагает и общие ориентиры, и рабочий язык для описания такой этической и эпистемологической конфигурации позиций в поле, где участники исследования равноправны и политически, и интеллектуально. Это значит, что их вклады в производство знания в равной степени важны и учитываются на всех стадиях исследования. Более привычная всем конфигурация “научного кодекса” этнографии игнорирует вклад исследователя на стадии сбора и анализа материала (он должен быть “мухой на стене”) и игнорирует интересы его собеседников на стадии публикации. С необходимостью ее пересмотра, кажется, с той или иной степенью осторожности согласны все участники дискуссии, когда признают, что наше вторжение в культуру неизбежно, и даже необходимо, потому что только оно и может запустить диалог и раскрытие нашего собеседника. Наши собеседники не хотят разговаривать со “стеной”: если мы молчим, им с нами неинтересно и они просто откажутся от беседы. Предложенный вариант, когда исследователь не вторгается, но “создает условия”, звучит как риторический компромисс с пресловутым “кодексом”. Следуя диалогическому принципу, нам нужно анализировать в равной степени вклады и исследователя, и его собеседников, наблюдать, как все они раскрываются во взаимодействии, и соответственно строить наше итоговое описание результатов исследования. В западной постмодернистской этнографии 1980-х годов идея диалогизма в полевой работе стимулировала поиск более равноправных форм организации исследования, чтобы обитатели поля тоже могли получить от него какую-то пользу, хотя бы в виде лучшего понимания собственной культуры. Дж. Маркус и М. Фишер предложили рассматривать антропологическое исследование как совместное критическое обсуждение культуры (*Marcus, Fischer 1986*). Сейчас эти идеи развиваются в области этнографии сотрудничества, особенно в полях экспертов и профессионалов – программистов, ученых (*Estalella, Sanchez Criado 2018*).

4. Используя термин “речевые жанры”, я опираюсь на определение М.М. Бахтина, который предполагал, что можно выявить типы высказываний с устойчивыми формальными и содержательными признаками, характерные для той или иной сферы деятельности (*Бахтин 1997*). Речевой жанр – это способ обнаружить связи между говорением и неречевыми социальными практиками. Интервью – тоже речевой жанр, и его устойчивые формальные и содержатель-

ные признаки описаны, например, в работе антрополога Ч. Бриггса (*Briggs* 1986). Вместе с тем, как справедливо замечают мои оппоненты, этнографическое интервью обладает своими жанровыми особенностями, отличающими его от других типов интервью, таких как журналистское или психотерапевтическое. Изучение этих особенностей – актуальная задача для этнографии и антропологии (*Koven* 2014).

Термин “позиции” я беру из теории позиционирования Р. Харре. В отличие от социальной роли, позиция нестабильна и постоянно пересматривается в ходе взаимодействия (*Harré, van Langenhove* 1999). Речевой жанр интервью предполагает определенную исходную конфигурацию позиций, но это не значит, что они зарезервированы за участниками раз и навсегда. Напротив, они постоянно пересматриваются в ходе взаимодействия. Если интервьюируемый посреди разговора начинает бомбардировать интервьюера вопросами, а тот послушно отвечает, я интерпретирую это как совместно достигнутую смену их позиций, и меня интересуют причины такой динамики и ее последствия.

Смена позиций – действенный (хотя и не единственный) инструмент переключения речевых жанров. Выявлять разные жанры в ходе речевого взаимодействия (интервью, беседа и т.д.) представляется важным для понимания динамики разговора: почему собеседник переключился с интервью на обычную беседу? Что позволило ему это сделать? Есть ли темы, которые подходят для обсуждения только в определенном жанре?

5. Увидеть за микроанализом взаимодействия более широкую перспективу, т.е. приспособить его для поиска ответов на вопросы к культуре в целом, – одна из самых интригующих задач для меня. Ведь решить ее – значит, подобно латуровскому муравью (*Латур* 2014), пройти тропку от самых маленьких деталей взаимодействия людей к той культуре, в которой они живут, и получить знание, которое не только максимально связано с эмпирикой, но еще и принимает во внимание всю ее филигранную сложность. С моими попытками это сделать можно ознакомиться в диссертации (*Касаткина* 2019) и статьях (*Касаткина* 2017а; *Касаткина* 2017б). Такой проект требует поиска нового дизайнера и для исследования в целом, и для исследовательских текстов в частности, ведь все детали невозможно охватить в небольшой статье на авторский лист. В процессе микроанализа взаимодействия, кроме того, рождаются исследовательские вопросы нового типа: о связи речевых и культурных практик, например, о конструировании эмоций, связанных с тем или иным явлением, в разговорах с разными собеседниками, или о речевом исполнении родства и гендера.

Интересно, что темой, объединяющей большинство реплик, оказался вопрос “искусственности” или “естественности” наших полевых разговоров. Это, вероятно, связано с тем, что в нашей полевой науке по инерции сильно желание наблюдать наши объекты в природной среде, в их естественной среде обитания. Нужно ли сохранять эту инерцию? Меняет ли что-то признание наших полевых взаимодействий более или менее “естественными”?

Так или иначе, толкование “естественной беседы” зависит от того, как мы понимаем фигуру исследователя. Если это не человек, а какая-то внешняя объективная инстанция, глубоко чуждая изучаемой среде, то разговоры в поле без нашего участия более “естественны”, чем наши диалоги. Такой исследователь – это бахтинский Автор, внеположенный героям своего романа (*Бахтин* 1972), или взгляд спутника из далекого космоса. Однако авторы присланных реплик согласны, что идеал бесстрастного и незаметного этнографа в поле соблюдать невозможно и ненужно.

Если мы признаем исследователя таким же человеком и участником изучаемой нами жизни, то “искусственным” оказывается, напротив, жест его исключения из коммуникации. Это исключение может происходить во время беседы, когда исследователь старается побольше молчать, или во время обработки записи беседы, когда исследователь не расшифровывает свои реплики и не включает их в анализ, или в написании отчетного текста, когда исследователь не упоминает о собственном участии в описываемой реальности. Чтобы избежать исключения, нужно смотреть, какие “естественные” ниши для собеседника-исследователя предоставляет то или иное поле. К этому призывал Ч. Бриггс, когда предлагал, прежде чем приступать к полевым интервью, изучить, как вообще принято строить разговоры в этом конкретном обществе, и понять, какие позиции может занять исследователь, чтобы ему давали нужную ему информацию (ребенка? ученика? любопытного чужестранца? а может быть, писателя?) (*Briggs 1986*). По сути, это продолжение процесса вживания в поле при длительном включенном наблюдении, когда исследователя, например, принимают в местную систему родства, чтобы он мог быть полноценным членом изучаемого сообщества.

Развитие в репликах получила тема институциональности нашей полевой коммуникации. Мы как исследователи связаны не только с организацией-работодателем и финансирующим фондом (сейчас это часто разные инстанции!), но и с менее зримой, но существующей научной корпорацией. В этом смысле мы несем не только обязательства по отчетности, но и зафиксированные в неписаных (в России) научных кодексах этические обязательства и перед обитателями поля, и перед будущими коллегами. Интересно было бы поразмышлять о том, какое влияние все эти институциональные факторы оказывают на нашу практику ведения полевых бесед/интервью, т.е. на то, как собираются материалы, из которых мы создаем научное знание.

Дискуссия замечательно показала, как плодотворен может быть взгляд с разных сторон на наши полевые материалы. Замечания Д. Колядова помогли мне по-новому увидеть свои фрагменты и уточнить свои гипотезы по их поводу. Форматы совместного обсуждения собранных материалов (разных форм речевого взаимодействия) разработаны в конверсационном анализе (“датасессии”) (*ten Have 2007*: 140–142) и в немецкой качественной социологии (*Кострова 2018*). Среди преимуществ указывается в частности достижение более взвешенного и объективного взгляда на материал. Социальная антропология и этнография менее ориентированы на коллективный анализ материалов. Думается, практика совместной аналитической работы могла бы быть позаимствована вместе с методами анализа речевого взаимодействия для полевых интервью.

Поставленный мной вопрос об этнографичности интервью – во многом вопрос о словах и вещах. Кажется, авторы реплик готовы согласиться, что, когда мы говорим “интервью”, “полевая беседа” или “этнографический опрос”, мы в принципе имеем в виду одну и ту же полевую практику получения исследовательского материала путем общения с людьми. И что для понимания полученного материала этнографам и представителям соседних дисциплин могут быть полезны методы анализа речевого общения (“филологические” или методы лингвистической антропологии). Радостно видеть, что в нашем академическом мире разногласия по этому вопросу возникают только в ситуациях, где на кону символические и материальные ресурсы (как на защите диссертации), в то время как научный журнал по-прежнему остается местом для дискуссий по существу. А существо, как представляется, в том, чтобы лучше, тоньше и

точнее понимать и людей, которые с нами говорят, и самих себя – тех, кто проводит исследования. Особенно сейчас, когда от нашей способности понимать друг друга зависят не только результаты научных исследований, но и судьба страны и общества.

Примечания

¹ Чтобы моделировать взаимодействие на бумаге, созданы специальные системы расшифровки исследовательских интервью (*Hepburn, Golden* 2013).

Источники и материалы

Петров б.г. – [*Петров Н.В.*] Никита Петров о том, зачем собирать, слушать и читать истории о городах // Шанинка медиа. https://www.msses.ru/media/intervyu/nikita-petrov-o-tom-zachem-sobirat-slushat-i-chitat-istorii-o-gorodakh/?fbclid=IwAR1lzEtEHLVjLZKOI566kXhKR0-do0jHx5_jDoydkTg1p4fO7u8JHYCPyGU (дата обращения: 25.04.2022).

Петров 2021 – *Никита Петров*. Коллективная память и локальный текст города // Коммеморативная мастерская. Летняя Школа. 29.07.2021. <https://fb.watch/8Wht6j794K>

Oral History Interviews 2018 – Oral History Interviews: Family History and Folklife // The American Folklife Center. Library of Congress. 2018. <https://www.loc.gov/folklife/familyfolklife/oralhistory.html>

Научная литература

Баранов Д.А., Гуляева Е.Ю. Позиция исследователя в поле // Полевые этнографические исследования: материалы Восьмых Санкт-Петербургских этнографических чтений. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. С. 10–16.

Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // *Бахтин М.М.* Собрание сочинений. Т. 5. Работы 1940-х – начала 1960-х гг. М.: Русские словари, 1997. С. 159–206.

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Художественная литература, 1972.

ван Дейк Т.А. Структура новостей в прессе // *ван Дейк Т.А.* Язык. Познание. Коммуникация. Благовещенск: БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. С. 228–267.

Календарова В. “Расскажите мне о своей жизни”: сбор коллекции биографических интервью со свидетелями блокады и проблема вербального выражения травматического опыта // Память о блокаде: свидетельства очевидцев и историческое сознание общества: материалы и исследования / Под ред. М.В. Лоскутовой. М.: Новое издательство, 2006. С. 201–229.

Касаткина А.К. Дачные разговоры как объект этнографического исследования: разработка метода (на материале интервью об освоении садовых участков в 1980-е – 1990-е гг.). Дис. ... канд. ист. наук. МАЭ РАН, Санкт-Петербург, 2019.

Касаткина А.К. Интонирование позиций в исследовательском интервью, или музыка со смыслом // Практики и Интерпретации. 2017а. Т. 2. № 4. С. 83–93. <https://doi.org/10.23683/2415-8852-2017-4-83-93>

Касаткина А.К. Садовый домик и его строитель в разговорах с садоводами на-

- чала XXI в. // *Experto crede Alberto*: сборник статей к 70-летию Альберта Кашфуллоевича Байбурина. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2017б. С. 195–215.
- Кострова Е.А.* Метод объективной герменевтики: проблемы и перспективы // *Социология*: 4М. 2018. № 46. С. 123–158.
- Кузин Т.А.* Исторические судьбы сахалинских корейцев. Монография: В 3 кн. Кн. 3: Этническая консолидация на рубеже XX–XXI вв. Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное изд-во, 2010.
- Латур Б.* Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М.: ИД ВШЭ, 2014.
- Макаров М.Л.* Основы теории дискурса. М.: Гнозис, 2003.
- Мельникова Е.А.* 14 советов, как записать воспоминания бабушки или бабушки // *Arzamas*. 14 мая 2020 г. <https://arzamas.academy/mag/826-interview>
- Портелли А.* Особенности устной истории // *Хрестоматия по устной истории / Пер., сост., введение, общ. ред. М.В. Лоскутовой*. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2003. С. 32–51.
- Ридингс Б.* Университет в руинах. М.: ИД ВШЭ, 2010.
- Рус Н.* Русские разговоры: культура речи и речевая повседневность эпохи перестройки. М.: НЛЮ, 2005.
- Садмен С., Брэдберн Н., Шварц Н.* Как люди отвечают на вопросы: применение когнитивного анализа в массовых обследованиях / Пер. с англ. Д.М. Рогозина, М.В. Рассохиной; под ред. Г.С. Батыгина. М.: Институт Фонда “Общественное мнение”, 2003.
- Утехин И.В.* Невопросительные вопросы и интеракционный подход к контексту // *Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН*. 2013. Т. IX (3). С. 81–95.
- Чеснов Я.В.* Описание культур и понимание людей // *Художественная культура*. 2013. № 2 (7). <http://artculturestudies.sias.ru/2013-2/prikladnaya-kulturologiya/591.html>
- Щеглова Т.К.* Устная история. Учебное пособие. Барнаул: АлтГПА, 2011.
- Briggs C.* Learning How to Ask: A Sociolinguistic Appraisal of the Role of the Interview in Social Science Research. N.Y.: Cambridge University Press, 1986.
- Briggs C.* Anthropology, Interviewing, and Communicability in Contemporary Society // *Current Anthropology*. 2007. Vol. 48. No. 4. P. 551–580.
- Brown P., Levinson S.* Politeness: Some Universals in Language Usage. N.Y.: Cambridge University Press, 1987.
- Bucholtz M., Hall K.* Identity and Interaction: A Sociocultural Linguistic Approach // *Discourse Studies*. 2005. Vol. 7. No. 4–5. P. 585–614.
- De Fina A.* Narratives in Interview – The Case of Accounts: For an Interactional Approach to Narrative Genres // *Narrative Inquiry*. 2009. No. 19. P. 233–258.
- Duranti A.* The Voice of the Audience in Contemporary American Political Discourse // *Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics: Linguistics, Languages and the Real World: Discourse and Beyond / Eds. D. Tannen, J.E. Alatis*. Washington: Georgetown University Press, 2003. P. 114–136.
- Estalella A., Sanchez Criado T.* (eds.) Experimental Collaborations: Ethnography through Fieldwork Devices. N.Y.: Berghahn, 2018.
- Goffman E.* Footing // *Forms of Talk / Ed. E. Goffman*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1981. P. 124–159.
- Goodwin C.* Co-Operative Action. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Harré R., van Langenhove L.* Introducing Positioning Theory // *Positioning Theory*:

- Moral Contexts of Intentional Action / Eds. R. Harré, L. van Langenhove. Oxford: Blackwell Publishers, 1999. P. 14–31.
- Hepburn A., Golden G.* The Conversation Analytic Approach to Transcription // *The Handbook of Conversation Analysis* / Eds. J. Sidnell, T. Stivers. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. P. 57–76.
- Heritage J.* Epistemics in Action: Action Formation and Territories of Knowledge // *Research on Language & Social Interaction*. 2012. Vol. 45. No. 1. P. 1–29.
- Koven M.* Interviewing: Practice, Ideology, Genre, and Intertextuality // *Annual Review of Anthropology*. 2014. Vol. 43. P. 499–520.
- Marcus G., Fischer M.* Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences. Chicago: University of Chicago Press, 1986.
- Peräkylä A.* Reliability and Validity in Research Based on Naturally Occurring Social Interaction // *Qualitative Research: Theory, Method and Practice* / Ed. D. Silverman. L.: SAGE, 2004. P. 283–304.
- Rapley T.* The Art(fulness) of Open-Ended Interviewing: Some Considerations on Analysing Interviews // *Qualitative Research*. 2001. Vol. 1. No. 3. P. 303–323.
- Ritchie D.A.* *Doing Oral History*. N.Y.: Oxford University Press, 2014.
- Shopes L.* 2012. Making Sense of Oral History // *Oral History in the Digital Age* / Eds. D. Boyd, S. Cohen, B. Rakerd, D. Rehberger. Washington: Institute of Museum and Library Services. <http://ohda.matrix.msu.edu/2012/08/making-sense-of-oral-history>
- Tannen D., Wallat C.* Interactive Frames and Knowledge Schemas in Interaction: Examples from a Medical Examination/Interview // *Social Psychology Quarterly*. 1987. Vol. 50. No. 2. P. 205–216.
- ten Have P.* *Doing Conversation Analysis: A Practical Guide*. L.: Sage Publications, 2007.
- van Dijk T.A.* Cognitive Context Models and Discourse // *Language Structure, Discourse and the Access to Consciousness* / Ed. M.I. Stamenov. Amsterdam: John Benjamins Publishing, 1997. P. 189–226.

Research Article

Baranov, D.A., D.M. Kolyadov, P.S. Kupriyanov, A.D. Sokolova, T.A. Listova, I.A. Razumova, and A.K. Kasatkina. Thoughts about Ethnographic Interview: Comments [Razmyshleniia ob etnograficheskom interv'iu: kommentarii]. *Etnograficheskoe obozrenie*, 2022, no. 3, pp. 88–123. <https://doi.org/10.31857/S086954152203006X> EDN: HVDIIP ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS

Dmitriy Baranov | <https://orcid.org/0000-0003-4129-7771> | dmitry.baranov@list.ru | Russian Museum of Ethnography (4/1 Inzhenernaia Str., St. Petersburg, 191186, Russia)

Dmitriy Kolyadov | <http://orcid.org/0000-0002-2860-5517> | dkoliadov@gmail.com | Institute for Linguistic Studies, RAS (9 Tuchkov pereulok, St. Petersburg, 199053, Russia)

Pavel Kupriyanov | <http://orcid.org/0000-0001-9856-3159> | kupriyanov-ps@yandex.ru | Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (32-a Leninsky prospect, Moscow, 119991, Russia)

Anna Sokolova | <http://orcid.org/0000-0001-9120-8218> | annadsokolova@gmail.com | Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (32-a Leninsky prospect, Moscow, 119991, Russia)

Tatiana Listova | <http://orcid.org/0000-0002-2189-933X> | listova.ta@mail.ru | Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (32-a Leninsky prospect, Moscow, 119991, Russia)

Irina Razumova | <http://orcid.org/0000-0002-5960-9772> | irinarazumova@yandex.ru | Barents Centre of the Humanities – the Branch of the Federal Research Centre “Kola Science Centre of the Russian Academy Sciences” (40a Akademgorodok, Apatity, 184209, Russia)

Aleksandra Kasatkina | <https://orcid.org/0000-0002-8827-9696> | alexkasatkina@gmail.com | National Research University Higher School of Economics in St. Petersburg (Soyuza Pechatnikov Str. 16, St. Petersburg, 190121, Russia)

Keywords

interview, participant observation, field methods, field conversation, speech context, dialogic theory

Abstract

This article presents critical comments and responses to Aleksandra Kasatkina’s essay “How Ethnographic Is Ethnographic Interview?” in which the author draws on her experience of fieldwork conversations with garden owners in the Leningrad region to discuss the question of how “ethnographic” the typical ethnographic interview is per se. She argues that fieldwork conversation, as an organic part of participant observation, deserves its own methods of analysis, and that such methods targeted specifically at the analysis of speech may help us receive better answers to the questions that ethnographers pose. This discussion features contributions by D.A. Baranov, D.M. Kolyadov, P.S. Kupriyanov, A.D. Sokolova, T.A. Listova, and I.A. Razumova.

Funding Information

This research was supported by the following institutions and grants: Russian Science Foundation, <https://doi.org/10.13039/501100006769> [grant no. 19-78-10076] (recipients P.S. Kupriyanov, A.D. Sokolova) Barents Centre of the Humanities – the Branch of the Federal Research Centre “Kola Science Centre of the Russian Academy Sciences” (no. FMEZ-2022-0028) (recipient I.A. Razumova)

References

- Bakhtin, M.M. 1972. *Problemy poetiki Dostoevskogo* [Problems of the Dostoevskii’s Poetics]. Moscow: Khudozhestvennaia literatura.
- Bakhtin, M.M. 1997. Problema rechevykh zhanrov [The Problem of Speech Genres]. In *Sobranie sochinenii* [Collection of Works]. Vol. 5, *Raboty 1940-kh — nachala 1960-kh gg.* [The Works of the 1940s – early 1960s], 159–206. Moscow: Russkie slovari.
- Baranov, D.A., and E.Y. Guliaeva. 2009. Pozitsiia issledovatelii v pole [The Outlook of the Ethnographer in the Field Work]. In *Polevye etnograficheskie issledovaniia*:

- materialy Vos'mykh Sankt-Peterburgskikh etnograficheskikh chtenii* [Field Ethnographic Work: Materials of the Eighth St. Petersburg Ethnographic Readings], 10–16. St. Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena.
- Briggs, C. 1986. *Learning How to Ask: A Sociolinguistic Appraisal of the Role of the Interview in Social Science Research*. New York: Cambridge University Press.
- Briggs, C. 2007. Anthropology, Interviewing, and Communicability in Contemporary Society. *Current Anthropology* 48 (4): 551–580.
- Brown, P., and S. Levinson. 1987. *Politeness: Some Universals in Language Usage*. New York: Cambridge University Press.
- Bucholtz, M., and K. Hall. 2005. Identity and Interaction: A Sociocultural Linguistic Approach. *Discourse Studies* 7 (4–5): 585–614.
- Chesnov, Y.V. 2013. Opisaniye kul'tur i ponimanie liudei [Description of Cultures and Understanding of People]. *Khudozhestvennaia kul'tura* 2 (7). <http://artculturestudies.sias.ru/2013-2/prikladnaya-kulturologiya/591.html>
- De Fina, A. 2009. Narratives in Interview – The Case of Accounts: For an Interactional Approach to Narrative Genres. *Narrative Inquiry* 19: 233–258.
- Duranti, A. 2004. The Voice of the Audience in Contemporary American Political Discourse. In *Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics: Linguistics, Languages and the Real World: Discourse and Beyond*, edited by D. Tannen and J.E. Alatis, 114–136. Washington: Georgetown University Press.
- Estalella, A., and T. Sanchez Criado, eds. 2018. *Experimental Collaborations. Ethnography through Fieldwork Devices*. New York: Berghahn.
- Goffman, E. 1981. Footing. In *Forms of Talk*, edited by E. Goffman, 124–159. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Goodwin, C. 2018. *Co-Operative Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Harré, R., and L. van Langenhove. 1999. Introducing Positioning Theory. In *Positioning Theory: Moral Contexts of Intentional Action*, edited by R. Harré and L. van Langenhove, 14–31. Oxford: Blackwell Publishers.
- Hepburn, A., and G. Golden. 2013. The Conversation Analytic Approach to Transcription. In *The Handbook of Conversation Analysis*, edited by J. Sidnell and T. Stivers, 57–76. Chichester: Wiley-Blackwell.
- Heritage, J. 2012. Epistemics in Action: Action Formation and Territories of Knowledge. *Research on Language & Social Interaction* 45 (1): 1–29.
- Kalendarova, V. 2006. “Rasskazhite mne o svoei zhizni”: sbor kollektzii biograficheskikh interv'iu so svideteliami blokady i problema verbal'nogo vyrazheniia travmaticheskogo opyta [“Tell Me about Your Life”: Collecting a Collection of Biographical Interviews with Witnesses of the Blockade and the Problem of Verbal Expression of Traumatic Experience]. In *Pamiat' o blokade: svidetel'stva ochevidtsev i istoricheskoe soznanie obshchestva: materialy i issledovaniia* [Memory of the Blockade: Witness accounts and the Historical Consciousness of Society: Materials and Research], edited by M.V. Loskutova, 201–229. Moscow: Novoe izdatel'stvo.
- Kasatkina, A.K. 2017. Intonirovanie pozitsii v issledovatel'skom interv'iu, ili muzyka so smyslom [Intoning Positions in a Research Interview, Or Music with Sense]. *Praktiki i Interpretatsii* 2 (4): 83–93. <https://doi.org/10.23683/2415-8852-2017-4-83-93>
- Kasatkina, A.K. 2017. Sadovyi domik i ego stroitel' v razgovorakh s sadovodami nachala XXI v. [A Garden Hut and its Builder in Talks to Gardeners of the Early 21 Century]. In *Experto crede Alberto: sbornik statei k 70-letiiu Al'berta Kashfullovicha Baiburina* [Experto crede Alberto: Collection of Papers

- Celebrating 70 Anniversary of A.K. Baiburin], 195–215. St. Petersburg: Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge.
- Kasatkina, A.K. 2019. Dachnye razgovory kak ob'ekt etnograficheskogo issledovaniia: razrabotka metoda (na materiale interv'iu ob osvoenii sadovykh uchastkov v 1980-e – 1990-e gg.) [Dacha Talks as an Object of Ethnographic Research: Elaborating the Method (Based on the Materials of the Interviews about Cultivation of Garden Plots in the 1980s – 1990s)]. PhD diss., MAE RAN.
- Kostrova, E.A. 2018. Metod ob'ektivnoi germenentiki: problemy i perspektivy [The Method of Objective Hermeneutics: Problems and Perspectives]. *Sotsiologiya* 4M 46: 123–158.
- Koven, M. 2014. Interviewing: Practice, Ideology, Genre, and Intertextuality. *Annual Review of Anthropology* 43: 499–520.
- Kuzin, T.A. 2010. *Istoricheskie sud'by sakhalinskikh koreitsev* [Historical Destinies of Sakhalin Koreans]. Vol. 3, *Etnicheskaia konsolidatsiia na rubezhe XX–XXI vv.* [Ethnic Consolidation at the Turn of 20–21 Centuries]. Yuzhno-Sakhalinsk: Sakhalinskoe knizhnoe izdatel'stvo.
- Latour, B. 2014. *Peresborka sotsial'nogo: vvedenie v aktorno-setevuiu teoriyu* [Reassembling the Social an Introduction to Actor-Network-Theory]. Moscow: ID VShE.
- Makarov, M.L. 2003. *Osnovy teorii diskursa* [Basics of the Discourse Theory]. Moscow: Gnozis.
- Marcus, G., and M. Fischer. 1986. *Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences*. Chicago: University of Chicago Press.
- Melnikova, E.A. 2020. 14 sovetov, kak zapisat' vospominaniia dedushki ili babushki [14 Tips on How to Record Grandparents' Memories]. *Arzamas*. May 14, 2020. <https://arzamas.academy/mag/826-interview>
- Peräkylä, A. Reliability and Validity in Research Based on Naturally Occurring Social Interaction. In *Qualitative Research: Theory, Method and Practice*, edited by D. Silverman, 283–304. London: SAGE.
- Portelli, A. 2003. Osobennosti ustnoi istorii [Specifics of Oral History]. In *Khrestomatiia po ustnoi istorii* [Oral History Reader], edited by M.V. Loskutova, 32–51. St. Petersburg: Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge.
- Rapley, T. 2001. The Art(fulness) of Open-Ended Interviewing: Some Considerations on Analysing Interviews. *Qualitative Research* 1 (3): 303–323.
- Readings, B. 2010. *Universitet v ruinakakh* [The University in Ruins]. Moscow: ID VShE.
- Rees, N. 2005. *Russkie razgovory: kul'tura rechi i rechevaia povsednevnost' epokhi perestroiki* [Russian Talk: Culture and Conversation during Perestroika]. Moscow: NLO.
- Ritchie, D.A. 2014. *Doing Oral History*. New York: Oxford University Press, 2014.
- Sheheglova, T.K. 2011. *Ustnaia istoriia. Uchebnoe posobie* [Oral History: Textbook]. Barnaul: AltGPA.
- Shopes, L. 2012. Making Sense of Oral History. In *Oral History in the Digital Age*, edited by D. Boyd, S. Cohen, B. Rakerd, and D. Rehberger. Washington: Institute of Museum and Library Services. <http://ohda.matrix.msu.edu/2012/08/making-sense-of-oral-history>
- Sudman, S., N. Bradburn, and N. Schwartz. 2003. *Kak liudi otvechali na voprosy: primeneniye kognitivnogo analiza v massovykh obsledovaniiah* [How People Answer Questions: The Use of Cognitive Analysis in Mass Surveys], translated by D.M. Rogozin and M.V. Rassokhina; edited by G.S. Batygin. Moscow: Institut Fonda “Obshchestvennoe mnenie”.

- Tannen, D. and C. Wallat. 1987. Interactive Frames and Knowledge Schemas in Interaction: Examples from a Medical Examination/Interview. *Social psychology quarterly* 50 (2): 205–216.
- ten Have, P. 2007. *Doing Conversation Analysis: A Practical Guide*. London: Sage Publications.
- Utekhin, I.V. 2013. Nevoprositel'nye voprosy i interaktsionnyi podkhod k kontekstu [Non-Questioning Questions and Interactional Approach to Context]. *Acta Linguistica Petropolitana. Trudy Instituta lingvisticheskikh issledovaniy RAN* IX (3): 81–95.
- van Dijk, T.A. 1997. Cognitive Context Models and Discourse. In *Language Structure, Discourse and the Access to Consciousness*, edited by M.I. Stamenov, 189–226. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
- van Dijk, T.A. 2000. Struktura novostei v presse [Structures of News in the Press]. In *Yazyk. Poznanie. Kommunikatsiia* [Language; Cognition; Communication], by T.A. van Dijk, 228–267. Blagoveshchensk: BGK im. I.A. Boduena de Kurtene.